

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

1/2021



В номере:

Генералы, нефтеторговцы, людоеды...

«Начитавшийся в детстве приключенческих книжек не только до одури, но, увы, до умопомрачения, помешавшийся на индейцах, прериях и джунглях, имевший в постоянных товарищах Фенимора Купера и Майн Рида Беляев принадлежал к тому типу русских людей, на жизнь которых влияние прочитанных книг настолько велико, что оно, как правило, начисто разрывает их связи с реальностью и зачастую рвет на части их самих». Но случаются исключения: эмигрировавший после революции врангелевский генерал Иван Тимофеевич Беляев стал Генеральным администратором индейских колоний и Почетным гражданином Парагвая...

В основе авантюрного романа Ильи БОЯШОВА «Морос, или Путешествие к озеру» — одна из самых невероятных экспедиций XX века.

Сколько имён у счастья

Прозрачная лирика Владимира САЛИМОНА светла счастливыми воспоминаниями детства: «отец под Новый год, / как языка, живую ёлку / взяв с бою, нам приволочёт» — и печальна горькой памятью об утратах. «...подбирается время к твоим часам / хищно смотрит на циферблат», — тревожно предчувствует Андрей ФАМИЦКИЙ. «Всё всегда идёт налево / Даже если это право», — утверждает Анна РУСС. Хорошо известные русскоязычному читателю поэты из поколения 30-летних — впервые на страницах «ДН».

В рубрике «Двойной портрет» философские стихи Сухбата АФЛАТУНИ и его переводы узбекского поэта Турсуна АЛИ, нашего современника.

Вакханалия из-за фантома

Поколение советских евреев первой половины XX века «было практически лишено националистического начала, противопоставляющего себя общенародному. ...По крайней мере, у писателей и поэтов фронтового поколения его обнаружить не удастся. Разве что они были гораздо сильнее ранены Холокостом, чем остальное население СССР, но и в этом было не больше отчуждения от страны, чем в каждом, кто оплакивает гибель близких», — писатель Александр МЕЛИХОВ в статье «Советский патриотизм и голос крови» анализирует взаимоотношения властей Страны Советов и одного из населяющих ее народов.

«Тяжело в ученье, нелегко в бою»

«Однажды пригласили меня сниматься в кино, на главную роль (в фильме «Рыжик»). Мама не пустила. Что оставалось? Сидеть, уткнувшись в карту. Тут еще попала в руки открытка «Вид города Каира» — красивые машинки, дома высокие, темно-голубая река Нил. Шел от той картинки запах волшебный. Опять уткнулся я в карту мира, ее ближневосточный кусочек. А там в 1967 году — «шестидневная война». То, что любимые арабы продули ее за несколько суток, было обидно...» — ироничные и очень познавательные воспоминания востоковеда, политолога Алексея МАЛАШЕНКО об освоении арабского языка, о переводческой работе, об арабах и Египте.

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.11.2020.
Подписано в печать 29.12.2020.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 7142. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир САЛИМОН. Живи, поэт! <i>Стихи</i>	3
Илья БОЯШОВ. Морос, или Путешествие к озеру. <i>Авантюрный роман</i>	8
Анна РУСС. Из твоей головы. <i>Стихи</i>	101
Алекс ТАРН. Томик в мягкой обложке. <i>Рассказ</i>	104
Максим ВАСЮНОВ. В кайф. <i>Два «дымных» рассказа</i>	122
Андрей ФАМИЦКИЙ. Одно из ремёсел. <i>Стихи</i>	137
Давид МАРКИШ. Тиль-митиль. <i>Рассказ</i>	140
Александр БУШКОВСКИЙ. Чудо. <i>Рассказ</i>	146
Илья МАМАЕВ-НАЙЛЗ. <i>Words Unsaid. Рассказ</i>	152

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

Сухбат АФЛАТУНИ. Сколько имён у счастья. <i>Стихи</i>	159
Турсун АЛИ. Стихи. <i>С узбекского. Перевод Сухбата Афлатуни</i>	162
Татьяна ШАПОШНИКОВА. Созданы друг для друга. <i>Повесть</i>	166

НАЦИЯ И МИР

Алексей МАЛАШЕНКО. Тяжело в ученье, нелегко в бою	197
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр МЕЛИХОВ. Советский патриотизм и голос крови	219
---	-----

КРИТИКА

Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась.

Литературные итоги 2020 года подводят:

Евгений АБДУЛЛАЕВ, Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ, Катерина ГАЛГУТ,

Мария ЗАКРУЧЕНКО, Сергей ЛЕБЕДЕНКО, Валерия ПУСТОВАЯ,

Елена САФРОНОВА

238

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Валерия ПУСТОВАЯ. Шаманский аперитив

(*Шамиль Идиатуллин. «Последнее время»*)

254

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Диалог с пространством

262

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. «Кеды» — 2020

268

SUMMARY

272

Владимир Салимон

ЖИВИ, ПОЭТ!

* * *

Я знал, отец под Новый год,
как языка, живую ёлку,
взяв с бою, нам приволочёт
домой, крадучись, втихомолку.

Пока все спят, он у окна
её в ведро с водой поставит.
Проснусь — о, счастье! — вот она!
Горит. Сверкает. Бога славит.

И не беда, что всё у нас
в календаре перемешалось,
всё так запуталось подчас
и не на месте оказалось.

Что праздник празднику порой
дорогу переходит,
лезет
без очереди, как слепой,
шумит, буйнит, куролесит.

* * *

Наши мамки, наши няньки,
нас на санки посадив,
тащат, тащат в гору санки,
как состав, локомотив.

Едет, едет по бульвару
поезд наш, со всех сторон
нам кричат — поддайте жару! —
видно, есть на то резон.

Еле-еле поезд тянет.
Кажется, ещё чуть-чуть

и навек в снегу он встанет.
Заметёт, завьюжит путь.

Мы до станции конечной
не доедем никогда,
унесёт нас быстротечной
Леты чёрная вода.

Мальчика в солдатской шапке.
В белой шубке меховой
девочку.
Стихи. Тетрадки.
Сделав жизнь мою пустой.

Салимон Владимир Иванович — поэт, автор 25 книг стихов. Родился в 1952 году в Москве. Главный редактор журнала «Золотой век» (1991—2001). Лауреат премий журналов «Октябрь», «Арион», Европейской поэтической премии Римской академии (1995). Лауреат Новой Пушкинской премии (2012), премии «Венец» (2017) и др. Живет в Москве.

Постоянный автор «Дружбы народов».

* * *

Что мне делать с моей Ирккой?
Прежде, были времена,
без труда могли с бутылкой
мы управиться вина.

Пенилось вино в бокалах,
а вокруг сирень цвела,
словно в розовых кораллах
мы сидели вкруг стола.

Лёша, Коля, Саша, Слава —
их давно на свете нет,
только мотыльков орава
в сумерках летит на свет,

словно мелкие рыбёшки
к нам летят из темноты
души Славки, Кольки, Лёшки.
Ира, детка, где же ты?

Я проснулся среди ночи:
Ира! Ира! — стал кричать,
звать Ирину, что есть мочи.
Иры нет. Пуста кровать.

* * *

Дом пуст и холоден, и тёмн.
По осени во тьме ночной
он так нам кажется огромен,
как будто космос ледяной.

Но в пустоте и тьме крошечной
жизнь существует всё равно,
не в пику смерти неизбежной,
а словно с нею заодно.

Она присутствует незримо
и явственно и здесь, и там —
то в запахе печного дыма,
то в шорохах, что слышны нам.

Я о её существованье
догадываюсь без труда,
она себя не держит в тайне,
не знает страха и стыда.

Она не прячет, не скрывает,
лишь милосердно до поры
нам на показ не выставляет
клыки и когти, и шипы.

* * *

Бонни Клайда обнимает,
но сжимая рукоять
револьвера, оседает
Клайд, не в силах устоять.

Может, перед объективом
близость с ними как-нибудь
в ослеплении счастливым
мы хотели подчеркнуть:

нахлобучили мы шляпы,
сходства лёгкого ища,

спрятали хвосты и лапы
под одежду, трепеща,

потому что сердцем, кожей
ощущали, что нельзя,
обезьянничая, божий
гнев не вызвать на себя.

Клайд убит, погибла Бонни.
А теперь и мы с тобой
лай собачий, шум погони
услыхали за спиной.

* * *

Дорога только до моста,
а дальше — узкая тропинка,
глухие, дикие места,
что годны лишь для поединка.

Я бы и рад подставить грудь
под пулю доброму соседу,
но, трус презренный, он ничуть
не хочет кровь пустить поэту.

Он говорит:
Живи, поэт!
Зачем в тебя стрелять я буду?
И, вспрыгнув на велосипед,
купаться едет на запруду.

* * *

Без удовольствия за стол
в саду не сядешь,
сел у печки,
уставясь в деревянный пол,
в прямые ровные дощечки.

Такой, положенный во гроб
живым, увидел крышку гроба
несчастный Гоголь.
Бил озноб
его, хотя прошла хвороба.

Доска к доске — ни щёлки нет,
зазора нету, промежутка,
чтоб сквозь него увидеть свет,
и оттого ужасно жутко.

Так, в пол уставясь, я сидел,
колени обхватив руками,
как будто угадать хотел,
что там — в кромешной тьме — под нами.

* * *

Отец и сын на фотоснимке.
И кто-то третий — Дух Святой
иль Ангел, вроде невидимки,
нас ослепивший красотой?

Иль это — птичка-невеличка,
что вылетает всякий раз,
лишь вспыхнет вспышка, словно спичка,
до слез перепугавши нас?

Спроси фотографа об этом,
но он руками разведёт,
в карман полезет за ответом,
но ничего там не найдёт.

Откроет короб свой заплечный,
всё перероев в нём вверх дном,
но на вопрос ответить вечный
не может,
будто астроном,

что к телескопу всей душою,
как к мамке родненькой,
приник:
есть за чертою гробовою
жизнь иль наша жизнь — тупик?

* * *

День идёт на убыль, словно
в доме траур, полумрак.
Я, как это не прискорбно,
пью вино, курю табак.

Я пускаю кольца дыма,
и они, как корабли
межпланетные, вестимо,
в космос путь беруг с Земли.

Бороздят миры иные,
облетают вокруг планет,
чьи пустыни ледяные
отражают звёздный свет.

В этом свете отражённом,
будто в зеркале кривом,
будто бы в окне вагонном,
перевернут мир вверх дном.

* * *

В дождь трамваи встают на коньки
и скользят вдоль бульваров тенистых,
где уже фонарей огоньки
загораются в сумерках мглистых.

Это сон или явь?
Это только мерещится, мнится —
тонкий профиль в трамвайном окне,
что летит в полумраке,
как птица

сквозь холодные струи дождя
и густой частокол мелкоколосья,
сквозь который пробиться нельзя,
крылья не поломав, в поднебесье.

* * *

Сколько золота намыли,
а уходим налегке,
тая столбиками пыли,
исчезая вдалеке.

Ветер дунул, дождь закапал,
ливень наши смыл следы,
чтоб никто по нам не плакал,
так как в этом нет нужды.

Никакого нету прока
горевать и слёзы лить.
Что ушли мы раньше срока,
смысла нету говорить.

Будто в самом деле где-то
стрелки, Господи прости,
на часах забыли с лета
на зиму перевести.

Илья Бояшов

Морос, или Путешествие к озеру

Авантюрный роман

Трансвааль, Трансвааль, страна моя...
Бур правду говорит:
За кривду Бог накажет нас,
За правду наградит.

Галина Галина

Есть на земле далёкий край,
Где нет ни кризисов, ни крахов,
Алмазно-знойный Парагвай,
Страна влюблённых и монахов.

*Песенка из кинофильма
«Марионетки»*

«Вдвоем быть лучше, чем одному, ибо, если упадут, друг друга поднимут, но горе, если один упадет, а, чтоб поднять его, нет другого, да и если двое лежат — тепло им, одному же как согреться?»

Царь Соломон

Эта история случилась в начале тридцатых годов прошлого века. Однако прежде чем поведать о ней, стоит напомнить о государстве, в котором она произошла, и об обстоятельствах, которые способствовали столь удивительному путешествию героев повествования в сердце края, остававшегося совершенно неизвестным в то время, когда на географические карты были нанесены, казалось бы, самые экзотические и труднодоступные земные места.

Но обо всем по порядку.

Илья Бояшов родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил исторический факультет педагогического института им. Герцена. Автор десяти книг. Печатался в журналах «Октябрь», «Знамя». Живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — бль «Бансу» (2019, № 7).

Великий Чако

Не секрет: главными недругами слабой державы всегда являются ее ближайшие соседи. «Задний двор» Латинской Америки — экзотический Парагвай — исключением не был. Особенно досталось ему в войне 1864—1870 годов, не случайно названной Парагвайской. Прикарманив почти половину чужих земель на востоке и юге, Бразилия, Аргентина и Уругвай прошлись затем катком своих армий по долам и весям страны с таким достойным гуннов азартом, что в могилах оказались две трети парагвайских мужчин. Истинный геноцид сошел странам-поделницам с рук — Европа и Штаты в те времена не особо интересовались мировыми задворками, и после расправы над государством-парией события в регионе тянулись ни шатко, ни валко. Парагвай потихоньку хирел, Аргентина и Бразилия обрастали жирком, у политиков из Монтевидео накопились иные проблемы. Вроде бы все успокоилось, однако к концу века девятнадцатого в головах еще одних соседей ополовиненной страны — боливийцев — занозой засела мысль о том, что дышащий на ладан сосед непременно должен поделиться частью своей территории еще и на севере. Президенты страны откладывали вопрос до того момента, пока в устах зачавших в Боливию коммивояжеров «Стандарт Ойл» особенно сладко и часто не зазвучало слово «нефть». В двадцатые годы двадцатого века, прислушавшись к доводам посланцев Рокфеллера, государственные мужи решили закрыть гештальт при помощи кайзеровских офицеров, которых щедро поставлял Латинской Америке Версальский мир. Немцы с истинно арийской страстью взялись готовить боливийскую армию к будущей войне, найдя применение не только оставшемуся без дела оружию, но и обмундированию. Форма сделала темпераментных боливийцев похожими на германских солдат, и это не хуже приличного жалования грело сердца бывших унтеров и генералов Вильгельма II.

Парагвайцев все это не радовало — вот почему жарким декабрьским вечером 1930 года военный министр бедной, как церковная мышь, но подобной кондору в своей гордости державы вызвал к себе для доверительной беседы некоего человека, чьим мнением дорожил весь местный генералитет. Для его экстренной доставки во дворец парагвайские вооруженные силы задействовали авто министра (на данный момент в парагвайской столице автомобилями могли похвастаться лишь президент республики и военный министр). Гость проследовал в кабинет, оставив на попечение адъютанта берет, более подходящий парижскому клошару, чем советнику парагвайского Генштаба. Советник был тщедушным, невысокого роста, с бородкой клинышком, в чеховском пенсне и всем своим видом скорее походил на учителя математики. На нем были потертый костюмчик с коротковатыми штанами и парусиновые туфли. Скромный облик гостя, словно выдернутого для разговора с министром из приспособленной под школу провинциальной хижины, никак не вязался с обстановкой сверкающего лаком кабинета, где разместились два викторианских кресла, несколько книжных шкафов угрожающей высоты и покрытый зеленым сукном стол размером чуть ли не с половину футбольного поля. Луис Риарт, политик, которого можно было обвинить в чем угодно, но только не в подбострастии, вложил все свое уважение к позднему гостю в крепкое рукопожатие:

— Дон Хуан! Простите за назойливость, но я побеспокоил вас по исключительно важному поводу.

Министр предпочел не тратить время на церемонии и сразу протянул вошедшему записку.

Дон Хуан поднес изрядно помятый листок к пенсне. Судя по всему, текст был почти нечитаемым. Наконец записка была расшифрована.

— Черт подери, — ругнулся советник по-русски. — А ведь дело-то пахнет дракой.

Спohватившись, гость перешел на испанский, слово в слово повторив для Риарта то, что сорвалось у него с языка. Впрочем, министр несколько не удивился чужой речи, ибо звали на самом деле досточтимого дона Хуана Иваном Тимофеевичем Беляевым, и был тщедушный и интеллигентнейший советник парагвайского Генерального штаба потомственным петербуржцем, дворянином, артиллеристом лейб-гвардии, разработавшим для русской армии первый Устав горной артиллерии и в годы Первой мировой в чине командира артдивизиона принявшим самое активное участие в знаменитом Брусиловском прорыве. Не менее бурное участие Ивана Тимофеевича в событиях 1917—1918 годов (а именно в становлении армии белых, налаживании работ по производству оружия на Харьковском паровозостроительном заводе) и его особо доверительные отношения с командующим Добровольческой армии генералом Кутеповым в дальнейшем обеспечили ему гарантированную эмиграцию без всякой надежды вернуться на Родину. Сухенький, активный инспектор всей добровольческой артиллерии Беляев давно уже был взят на мушку революционными матросами, немало потерпевшими от огня его батарей. Будучи уже врангелевским генералом, бежал он от рассвирепевших большевиков на последнем корабле из Новороссийска в Галлиполи (беляевские орудия прикрывали эвакуацию), затем мыкался в Болгарии и, отказавшись от карьеры шофера парижского такси, в середине двадцатых годов подался в Аргентину, где, впрочем, тоже не задержался, ибо мятущемуся духу Ивана Тимофеевича уклад жизни тамошней русской общины оказался попросту невыносимым. Его можно было понять. Угнездившиеся с конца девятнадцатого века в Буэнос-Айресе русские коротали годы замкнутым кругом, а их дети, быстро привыкнув к здешнему танго и лучшим в мире отбивным из мраморного мяса, по славной отечественной привычке переняли местные особенности до такой степени, что отличались от аборигенов разве что нательными крестами. К ужасу бывшего генерала, мечтавшего о единении всех россиян за границей, старожилы смотрели на оборванных, прокопченных пожарами Гражданской войны соотечественников далеко не ласково и принимать их в свое общество не торопились. Доходило до того, что они попросту гнали с порога своих домов, как нищих с паперти, и пострадавших за царя и отечество седых рубак, и бывших депутатов Государственной Думы. Впрочем, вновь прибывшие тоже могли поддать жарку. Белогвардейские поручики и капитаны, привыкшие решать проблемы при помощи шашек и револьверов и «рубавшие большевичков, словно соломенных кукол», мягкостью манер не отличались. Старые и новые иммигранты, постоянно сталкивающиеся на улицах аргентинской столицы и под сводами двух местных православных храмов, мягко говоря, недолюбливали друг друга. Отчаянные попытки священников примирить христоролюбивых чад терпели крах. Не прошло и месяца мытарств, как Беляев окончательно осознал: что касается аргентинской общины, в ней торжествует едва прикрытый приличиями закон крайнего эгоизма. Сие прискорбное обстоятельство заставило Ивана Тимофеевича обратить свой взор на соседний Парагвай, тем более, что с этим разнесчастным государством его связывало нечто большее, чем просто желание в очередной раз сменить место жительства.

Следует прояснить стремление будущего советника парагвайской армии переехать в страну, значительную часть которой занимала неисследованная сельва, густо заселенная дикарями. Начитавшийся в детстве приключенческих книжек не только до

одури, но, увы, до умопомрачения, помешавшийся на индейцах, прериях и джунглях, имевший в постоянных товарищах Фенимора Купера и Майн Рида Беляев ко всему прочему принадлежал к тому типу русских людей, на жизнь которых влияние прочитанных книг настолько велико, что оно, как правило, начисто разрывает их связи с реальностью и зачастую рвет на части их самих. Почтенный отец будущего натуралиста, географа и антрополога Тимофей Михайлович Беляев, гвардеец, комендант Кронштадтской крепости, совершил стратегическую ошибку, отдав сына на поруки семейной библиотеке и дедовским сундукам (в одном из этих хранилищ, кроме опять-таки приключенческих и географических книг, ко всему прочему обнаружилась старинная карта Парагвая). Так, благодаря превосходным книжным собраниям в отцовском доме и все тем же сундукам, уже к шестнадцати годам Беляев-младший сделался законченным утопистом. Вот почему и в кадетском корпусе, и в Михайловском артиллерийском училище часто вперивал юноша бледный свой подслеповатый взгляд в не менее унылое, чем учебный плац или артиллерийские позиции на полигоне, серое, словно поношенная шинель, петербургское небо, узревая вместо него вымытые до белизны небеса Латинской Америки. Скажем более: юный Иван чуть ли зубами не скрежетал, желая ворваться на лихом коне с казацкой шашкой наголо в Южную Америку и устроить там хорошенькую рубку ненавистных ему плантаторов ради индейского освобождения. Остается добавить: именно Парагвай в восторженном бреде кадета, затем юнкера, затем офицера, а затем и врангелевского генерала, благодаря все той же найденной в детстве карте, занимал особое место, о чем и будет рассказано позже. Кроме того, наложилась на мечту иммигранта Беляева о всемирном индейском братстве еще одна сжигающая его душу утопия — поиск земли обетованной для всех обездоленных страдальцев оставленной Богом России. Столкнувшийся с аргентинской реальностью Беляев страстно мечтал создать в Парагвае настоящий «русский ковчег». Все это привело к тому, что колокольчик над дверями парагвайского посольства в Буэнос-Айресе вскоре известил обитателей особняка о визитере. Кандидата на парагвайский паспорт приняли весьма сухо. Не все дипломаты являются прорицателями, разглядеть в неприметном интеллигенте будущего дивизионного генерала и почетного гражданина парагвайской республики не смогли ни референт посольства, ни атташе, ни сам господин посол, голова которого была забита в тот момент совершенно иными делами: на его горячо любимой родине шла стрельба и провозглашались марксистские лозунги — словом, во всех парагвайских городках слышалась музыка революции. Скромному русскому предложили прийти, когда закончится катавасия. Беляев вынужден был откланяться и ждать, продолжая интересоваться аргентинскими газетами и заодно совершенствуя свой испанский. Ждать, впрочем, пришлось недолго. Благодаря пронырливости журналистов, готовых мать с отцом продать ради жареных новостей, стало известно: смута завершена; в Аргентину из страны обетованной прибыли важные игроки — президент Мануэль Гондра и оборонный агент Санчес. Почитатель Фенимора Купера вновь оказался перед посольской дверью. На этот раз он явился как нельзя более вовремя: оба политика встретили романтика с распростертыми объятиями:

— Нам позарез нужны строители, врачи, инженеры. Но прежде всего — офицеры! Особенно артиллеристы! Кажется, вы два года потчевали коммунистов шрапнелью? И, кроме того, наверняка знаете основы фортификации! Милости просим в Военную школу!

Предложенные пять тысяч песо в качестве зарплаты еще более вдохновили пообносившегося пассионария. Сборы отличались поистине суворовской

стремительностью. Погрузившись в одно прекрасное утро вместе с молодой женой на пароход, неугомонный Иван Тимофеевич, попеременно обдуваемый ветерком и угольным дымом из топки, под истошные крики попугаев, доносящиеся из зарослей по обоим берегам Параны, проплыл энное количество миль вверх и высадился с несколькими скромными чемоданами на набережной Асунсьона — города, поразившего будущего предводителя краснокожих царскосельской провинциальностью. Еще бы! В парагвайской столице даже дамы разгуливали без башмаков, надевая их лишь на улицах, вымощенных булыжником, — этих улиц было в городе чуть больше, чем автомобилей. На фоне невзрачных домишек, утопающих, впрочем, в райских кущах садов, весьма скромный по российским меркам президентский дворец, а также здания городской управы и трибунала выглядели чуть ли не небоскребами. Несмотря на то, что на улице Пальмас чету иммигрантов Беляевых встречали магазины, которые пытались тягаться с парижскими роскошью витрин, скромность здешнего бытия даже и не пыталась прятаться. Повсюду мелькали босые ноги, нищие весело просили на хлеб, шныряли мальчишки с физиономиями профессиональных карманников, торговли базара в центре столицы перекрикивались друг с другом и с покупателями со страстью тропических птиц. Все дышало такой патриархальной, почти библейской простотой, что неожиданно вспыхнувшее вечером на некоторых улицах и в некоторых домах электричество вызвало у Ивана Тимофеевича и его *заиньки* поначалу оторопь, а затем почти что детский восторг.

Итак, домик был снят; жена распаковала вещи. Растущее во дворе дерево квебрахо (или «сломай топор») потрясло нового хозяина крепостью древесины — он тут же объявил квебрахо своим талисманом. Визит к начальству Военной школы завершился полным триумфом. На вопрос генерала Хосе Феликса Эстигаррибии о достоинствах и недостатках трехдюймового горного орудия «Данглиз-Шнейдер» образца 1909 года последовал обстоятельный ответ соискателя, касающийся не только тактико-технических данных, но и особенностей применения хорошо знакомой Беляеву пушки в качестве зенитки. Несколько советов бывшего артиллерийского инспектора относительно учебного процесса, данные с таким же знанием дела и с не менее удивительным тактом, тоже не остались без внимания. Представители учебного заведения были в восторге, и вскоре Хуан Беляефф, имеющий несомненный дар к иностранным языкам, взялся за обучение стриженных под ноль мальчишек фортификации и французскому, на котором Иван Тимофеевич общался со скоростью смышленного гарсона из парижского кафе. Однако Майн Рид и Купер никуда не девались. Во время перерывов между занятиями странный русский усаживался со стаканчиком мате возле постоянно распахнутого окна служебной комнаты, и тогда мечты вновь подхватывали его, унося далеко за пределы пыльного двора школы — в сельву, в кишашие удивительными существами заросли, туда, где прятались в пальмах хижины гуарани. Беляев по-прежнему бредил индейцами, не отрекаясь, впрочем, и от другой своей идефикс.

За приездом спецом пристально следил парагвайский Генштаб. Последствия слежки не заставили себя долго ждать: вскоре знаток горного военного дела оказался в кабинете военного министра. Радужный политик одним выстрелом завалил двух вальдшнепов, предложив гостю пригласить в Парагвай тех белогвардейских скитальцев, которые вслед за Беляевым пожелали бы обрести здесь пусть и скупую на подачки в виде заработной платы, но все же родину (приветствовались офицеры, путейцы, врачи и профессора). За помощь в создании русской колонии от дона Хуана попросили

совсем ничего, а именно: организацию нескольких экспедиций в область на стыке границ Парагвая, Аргентины, Бразилии и все той же Боливии, намерения которой вырисовывались все более отчетливо. Беляев замер, когда Риарт произнес «Великий Чако». Тропический район Чако был таинствен! Он поистине был велик! До этого пальмового Эльдorado за четыреста лет своего господства не смогли добраться даже конкистадоры, готовые колонизировать и Луну. На всех без исключения картах мира Чако оставался огромным *пустым пятном*. Что он на самом деле хранит в себе — не знали ни географы, ни зоологи, ни католические монахи, несколько раз без всякого успеха пытавшиеся сунуться в гущу тропического междуречья Парагвая и Пилькомайо. Замысел Риарта оказался грандиозен: новому парагвайскому гражданину предстояло нанести на карту, плотно заселенную кайманами, броненосцами, капибарами, тапирами, ягуарами, пумами, анакондами, коралловыми аспидами, обезьянами, термитами, москитами, гигантскими муравьями, саранчой, клещами, кровососущими летучими мышами, попугаями, нанду, ибисами, туканами и вдобавок индейцами, ту часть неизведанных тропиков, которая пока еще принадлежала Парагваю и на которую зарились боливийские стратеги вкупе со своими североамериканскими друзьями. Иван Тимофеевич едва сдержал себя, чтобы здесь же, в министерском кабинете, не пасть на колени и не возблагодарить Господа за то, что Всемогущий наконец-то услышал тайные чаяния раба своего.

Уже на следующий день Главный Почтамт Асунсьона принял первый десяток писем.

Что касается другой части соглашения, то бывшего артиллериста уже не могли остановить ни уговоры жены, ни подточенное здоровье, ни тот остужающий любую трезвую голову факт, что пустошь, которую предстояло штурмовать, имела размер половины Франции. Иван Тимофеевич взялся за изучение местной флоры и фауны с рвением, которому мог бы позавидовать неутомимый Паганель. Парагвайский Генштаб в силу стесненности в средствах снабжал экспедиции довольно скупо, но следопыт не роптал, довольствуясь тем, что есть. Беляев следовал по берегам тропических рек, прибегая к услугам выносливых местных носильщиков и незаменимых мулов, зарисовывая с натуры птиц, зверей, деревья и обозначая не только стратегические высоты, впадины, ложбины, но даже самые мелкие ручьи. Неожиданное появление нового Миклухо-Маклая в индейских селениях района Чако потрясло их обитателей. Однако не успели затянуться болотной водой следы от первого посещения Иваном Тимофеевичем становищ непуганых детей природы, по силе воздействия сравнимого разве что с визитом инопланетянина, как, спешно организовав вторую экспедицию, он вновь появился возле индейских костров. Обаяние свалившегося на индейские головы белого гуру обезоружило самых воинственных ичико, которые с восторгом пробовали на зуб привезенные ножи и разглядывали ткани. Беляев разорился на покупках, но никто не остался без подарков. Любовь северянина к обитателям сельвы коснулась всех без исключения местных пятниц. И любовь эта не натолкнулась на стену. Чингачуки окружили невзрачного бледнолицего, для которого потеря пенсне была самой страшной из катастроф, не менее искренним обожанием. Так благодаря милости Божией Иван Тимофеевич наконец-то попал в свою истинную стихию. Не о ней ли мечтал он до самозабвения и на унылых практиках по созданию батарейных позиций под Красным Селом, и в царскосельском госпитале, и на обильно удобренных трупами галицийских полях, и в поставленном на дыбы эвакуацией Новороссийске, и в равнодушном Париже, и в чопорном Буэнос-Айресе? С восторгом принимая теперь каждый звук, вырывающийся из индейской глотки, и каждый жест, которым тот или

Анна Русс

ИЗ ТВОЕЙ ГОЛОВЫ

* * *

Маленькие журавлики,
Вы прилетели из Африки?
Анечка, мы не из Африки
Мы из твоей головы

Сложенные, бумажные
Важные или неважные
Сложные и тревожные
Крылышками машете вы

Не воробьи, не соловушки
Тесно вам в этой головушке
Некуда вставить слова
Некуда полететь

Не скакуны шальные вы
Вы мои дети больные вы
Что с вами делать, родные?
Дети, куда вас деть?

В сердце нам будет не тесно нам
В сердце там много же места там
— Где оно?
— Нам не известно.
Нам-то откуда знать.

И трепыхаются, вертятся
Стенки цапают, сердятся
Где ж его взять, это сердце?

Сердце, где тебя взять?

Русс Анна Борисовна — поэт. Родилась в Казани в 1981 году. Окончила Казанский государственный университет, училась в Литературном институте им.А.М.Горького. Автор книги стихов «Марежь» (М., 2006). Лауреат премий «Дебют», имени Бориса Соколова, «Открытая Россия», «Звёздный билет» и др. Живет в Казани.

В «ДН» печатается впервые. В подборке сохранена авторская пунктуация.

* * *

...Из леса выходит старик
А глядишь — он совсем не старик
Напротив, совсем молодой
Красавец, но зрелый на вид
Пожалуй, он даже старик

...А глядишь — он совсем не старик
Напротив, зелёный юнец
Мальчишка, но взгляд его мудр
Недетский такой, да и сам
Сутулый, на вид пожилой
Морщинистый, древний старик

...А глядишь — он совсем не старик
Да ладно, какой там — пацан!
Румяный, пушок на щеке
Но согнут, как будто старик

...А глядишь — он совсем не старик
Салага ещё, карапуз
Но смотрит по-взрослому так
Как будто в натуре, старик

...А глядишь — он совсем не старик
Напротив, совсем молодой

Красавец
Дубровский

Собачий зуб

Сняли куртки сели
Я заказал сырных шариков и вина
Прости
Внезапно спрашивает она
Но что бы ты выбрал:
Ответственность
За смерть безгрешного человека нести
Или продаться в рабство на много лет?
Может быть на всю жизнь?

А она такая обыкновенная
Классная
Нежный цветочек губ
Кепка рубашка
Мой любимый жилет
С узором «собачий зуб»
И на шее пятно голубое от пятничного засоса

Отвечаю: нет
Ну уж нет отвечаю
Что за постановка вопроса?
Это ты уже ощущаешь себя убийцей
А я ничего пока что не ощущаю

Спроси, что я выберу: рабство или свободу

Наверное я был немного резок
Немного груб
Но мне было страшно
Я-то не знал никакого безгрешного человека
А вдруг он там слабоумный или калека
Спрашиваю: будешь вина?
Мне нельзя говорит она
Мне пожалуйста

Минеральную воду

* * *

Он в квартире без балкона
Себе места не находит
Он внутри как йоко оно
А снаружи как бандерас
Он и логос он и эрос
Он и танос и хуарес
Он набычился как парус
Полные карманы бури
Он выходит из вагона
Он всегда идёт налево
Он внутри как йоко оно
А снаружи как траволта
Для тебя сияют звёзды
И вокруг всё стало жёлто
И твои мослы и кожа
Стали чем-то там прекрасным
Ты на сон его похожа
Для тебя он сцедит кровь всю
Досуха, всю кровь и семя
Слёзы, пепел, ил и лаву
Он себе находит место
Он жених майора шолто
Он тебе напишет песню
И вокруг все стало жёлто
Слёзы, ил и лава-лава
Ты сегодня королева
Всё всегда идёт налево
Даже если это право

Алекс Тарн

ТОМИК В МЯГКОЙ ОБЛОЖКЕ

Рассказ

Сжатый темной теснотой, туго спеленатый вместе с другими точно такими же, как он, Юрий Андреевич сначала не чувствовал ничего — вообще ничего. Неудивительно: чтобы чувствовать, вспоминать, жить, надо по меньшей мере отделиться от общей массы, стать самостоятельным субъектом, а до этого, видимо, было еще далеко. Кроме того, он плохо понимал по-английски. Обрывки немногих реплик, доносившиеся сквозь несколько слоев толстой оберточной бумаги, звучали совершеннейшей абракадаброй, поэтому Юрий Андреевич счел за благо не вслушиваться и отключился до лучших времен.

Потом его, опять же, как и других, грубо ворочали, швыряли, переворачивали — и так, и эдак, до тошноты, до полного отупения. Внешний мир проявлял себя то дробной дорожной тряской, то воем стартующих авиационных двигателей, то жутким холодом багажного отделения. Трудно сказать, как долго их перетаскивали, перевозили, перебрасывали с места на место. Но вот наконец послышался треск разрываемой обертки, и в глаза Юрию Андреевичу ударил яркий электрический свет.

— В мягкой обложке? — сказал кто-то по-немецки.

Немецким и французским Юрий Андреевич владел более-менее свободно.

— Как показывает опыт, твердые обложки все равно отрывают, — отвечал другой голос.

— Отрывают? Зачем?

— Легче спрятать. Бывает, вообще, расчлениют на четыре-пять кусков...

— Дикость какая...

— Так что, берете?

Первый взял Юрия Андреевича в руки и бегло перелистал. Это было неизъяснимо приятное чувство, острое ощущение начавшейся личной жизни, самостоятельной, отдельной от двойников — товарищей по пачке.

— Я практически не читаю по-русски... — брюзгливо проговорил листающий. — Как объясню, если задержат на таможне?

Алекс Тарн — поэт, прозаик. Родился в 1955 году. Жил в Ленинграде, откуда репатриировался в 1989 году. Автор нескольких книг. Стихи и проза печатались в журналах «Октябрь», «Интерпоэзия», «Иерусалимский журнал». Живет в поселении Бейт-Арье (Самария).

Предыдущая публикация в «ДН» — роман «Шабатон» (2020, № 8).

— Вы ничем не рискуете, — возразил его собеседник. — Самое худшее, что может произойти — отнимут и отпустят. Никто не бросит вас в тюрьму за найденную в багаже книгу нобелевского лауреата.

— А если не отнимут? Кому потом...

— По вашему выбору. Там и сориентируетесь, прямо на симпозиуме.

— Хорошо... — с явной неохотой согласился первый.

Он захлопнул маленький, карманного формата томик и сунул его в портфель, где уже находились — как видно, на более законных основаниях — две пухлые папки с тесемками, огромная монография по физике твердого тела, дневник-календарь в роскошном кожаном пальто и плоская фляжка, распространявшая едва уловимый аромат отдыха от трудов и забот.

— Коньяк? — приветливо поинтересовался Юрий Андреевич.

— Скотч, — помедлив, булькнула фляжка. — А вы, судя по акценту, француз?

— Русский.

— Пфуй...

Последнее презрительное междометие принадлежало твердотельной монографии, которая явно считалась здесь за главную. Не удовлетворившись этим кратким, но емким выражением неудовольствия, она тяжело навалилась на Юрия Андреевича жестким дерматиновым боком. Он попробовал было сдвинуться ближе к папкам, но те в ответ еще больше распухли — теперь уже от возмущения. Фляжка тоже замолкла и отвернулась, вжав в плечи блестящую бескозырку. Что касается дневника, то тот и вовсе ни на кого не смотрел ввиду крайней занятости.

«Ну и черт с вами, — подумал Юрий Андреевич. — В пачке еще тесней было, а ведь как-то выжил. Справлюсь и теперь...»

И действительно, вскоре его перенесли в чемодан — к тщательно отглаженным брюкам, галстукам и рубашкам. Впрочем, Юрию Андреевичу досталось место попроще, в другом, менее упорядоченном углу, рядом с туфлями, электробритвой, одеколоном и таблетками от изжоги. Хозяин чемодана аккуратно заполнил пустоты туго свернутыми носками и прикрыл сверху слоем трусов, под которые после некоторого размышления засунул упаковку презервативов. Получилось, хотя и не нарочно, но не очень хорошо: прямоком на мягкую обложку — можно даже сказать, на лицо Юрия Андреевича, — на что тот отреагировал обычным образом, чрезвычайно характерным для целомудренной природы идеального российского интеллигента: то есть сначала задохнулся от возмущения, а затем, поняв принципиальную бесплодность борьбы, постарался перенести вопрос в философскую сферу.

— Ну вот, опять! — фыркнул флакон одеколона. — Зачем он каждый раз это берет? Какой смысл? Потом ведь все равно обратно повезет.

— На всякий случай, — пояснили трусы, относительно новые, но уже много повидавшие. — А чего не взять-то? Места не занимает, не то что некоторые...

Все посмотрели на довольно объемистую электробритву, но та не ответила, ибо обрела дар речи лишь при подключении к розетке.

«Народ, простой народ со своими насущными проблемами... — меланхолически думал Юрий Андреевич, прислушиваясь к разговору соседей. — Проблемы жизненной скученности, судьбоносной случайности, проблемы пропитания и смысла...»

Снаружи звучало радио, шумела городская улица, ревели двигатели аэроплана, перекрикивались грузчики — сначала по-немецки, а затем и на родном русском наречии. Чемодан с Юрием Андреевичем и его попутчиками бережно несли, поспешно катили, немилосердно швыряли и снова катили, и снова несли неведомо куда, и в этой

внешне бессмысленной и непостижимой тряске трудно было не усмотреть продолжения все той же в чем-то трагической, а в чем-то вполне заслуженной судьбы социальной прослойки, к которой всем своим существом принадлежал Юрий Андреевич.

«Я всего лишь прослойка, — думал он. — Пропахшая этим проклятым попутным одеколоном прослойка, прижатая к бритве толстым слоем трусов. Ведь залог нашего интеллигентского бытия — терпение. Терпение, несмотря ни на что, невзирая на любые испытания — даже самые неприятные, какие судьбе угодно навалить нам на плечи, или, как в данном случае, на лицо. Потому что так хочет народ, так хочет история...»

И все же Юрий Андреевич вздохнул с облегчением, когда хозяин чемодана, обосновавшись в гостиничном номере, переложил книгу в знакомый портфель. Теперь здесь было куда просторней — ни тебе папок, ни тебе монографии — только чванливый ежедневник, который Юрий Андреевич мысленно окрестил «комиссаром» за его кожаную тужурку, и плоская фляга, совершенно опустошенная долгой дорогой, а потому не расположенная к беседе.

Там, внутри, Юрий Андреевич провел несколько томительных дней. Время от времени слышался плавный шелест замочков, и клапан откидывался — широко и щедро, как и полагается солидным портфелям. «Неужели меня?» — с замиранием сердца думал Юрий Андреевич, но всякий раз обманывался в своих ожиданиях. Чаше всего на выход приглашалась фляга, иногда — «комиссар». Случалось, что рука хозяина задумчиво касалась и мягкой обложки Юрия Андреевича. Касалась, медлила, словно сомневаясь, стоит ли вытащить томик наружу, и минутой-другую спустя, так и не отважившись на это, вновь захлопывала клапан.

Так продолжалось до тех пор, пока однажды портфель не остался открытым. По характеру проникавшего внутрь прохладного света можно было догадаться, что он стоит возле окна — по-видимому, на широком подоконнике. Неверной рукой пошарив внутри, хозяин вытащил уже наполовину пустую флягу.

— Давайте попьём за ваш здоровье! — проговорил он на ломаном русском. — Профессор! Пожалуйста! Прелестный скотч!

— Что вы, господин Мозер, — отвечал кто-то другой с оттенком беспокойства. — Прямо здесь, в коридоре?

— Почему нет? — повысил голос немец. — Я улетает сегодня, а мы так и не попили!

— Ладно, давайте... Прозит!

Послышалось бульканье, и после непродолжительной паузы фляга вернулась в портфель.

— Я хочу спросить про этот роман, — сказал хозяин. — Вы читаете его?

— Не понимаю, о чем вы, — отозвался его названный профессором собеседник. — Какой такой роман?

Немец принужденно рассмеялся:

— Вы знаете какой... Так читаете? Или нет?

— Нет, господин Мозер, — сухо ответил профессор. — У нас подобные вещи в книжных магазинах не продаются.

— Это не есть проблема, — рука снова нырнула в портфель и выудила оттуда Юрия Андреевича. — Вот, пожалуйста. Подарок...

Глазам Юрия Андреевича предстал длинный учрежденческий коридор — странно безлюдный, хотя время было явно дневное, урочное. Вдоль внешней стены тянулась шеренга окон с наглухо заделанными, грубо покрашенными, залепленными

Максим Васюнов

В кайф

Два «дымных» рассказа

Фабрика игрушек

...сразу удар в голову, еще один в живот, трое повисают на мне, как шимпанзе на огромном клоуне. Реприза — «Свали лоха». Костяшки прокуренных кулаков царапают переносицу и щеки, рвут спецовку, кеды вязнут в грязи.

Надо отбиваться, работать руками, ногами. И дышать. Дышать. Но в нос бьет кислый воздух — рядом дымит коксохим.

Всё против меня.

Отбиваюсь и начинаю ржать — побочный эффект быстрого выброса адреналина, ржу оттого, что несколько крепких гопарей не могут меня завалить.

Реприза не удастся. Невидимые зрители мучаются от стыда.

И смешно, и страшно: если свалят, то запинаят до реанимации, но главное — вытащат телефон, а мне никак нельзя его терять — денег на новый заработаю нескоро. За телефон и стою.

— Кабан, сука, — рычит кто-то из кодлы, я даже не вижу его лица, бью наотмашь. По хрусту, который по неопытности можно спутать с треском сухой ветки под ногами, понимаю — зарядил в переносицу. Гопарь утыкается клювом куда-то в кусты, орет благим матом.

Трое других не теряют надежду закопать меня прямо здесь.

...И зачем я согласился пойти за пивом среди ночи? Лучше бы лег спать. Бригадир — бывший афганец — предупредил еще в первую мою смену: «Запомнить надо только два пункта. Пункт первый — если увижу, что спишь, даже когда нет работы, — выпну».

Про «бухать» он не говорил ни слова.

Мы делали пленку, наш завод занимал первые два этажа бывшей фабрики игрушек — панельного здания размером с современный торговый центр. Сама фабрика была трехэтажной. Но что было над нами, мы не знали — второй пункт

Максим Васюнов — журналист, автор документальных фильмов, участник Форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Проза и публицистика печатались в журналах «Знамя», «Юность», «Наш современник» и др. Живет и работает в Калужской области. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

бригадира звучал так: «Никогда не вздумай подниматься на третий этаж, увижу — ушатаю».

Однажды я все-таки не выдержал и поднялся. Это случилось часа за два до того, как мы с напарником пошли за пивом.

Напарник мой — имя уже забыл — на тот момент только недавно откинулся. Сидел за разбой. Мы с ним почти подружились. Вместе мотали и резали пленку. Когда нас окрикнули по пути из магазина — друган мой скромно и уверенно отошел в сторону. Его будто не заметили.

До сих пор удивляюсь — как так долго мне удавалось устоять под таким катком. Я часто восстанавливал в памяти тот махач, пытался увидеть все со стороны. Узкая улица, идущая в горку. Параллельно слева тянется бетонный забор, он заканчивается у продолговатого здания нашей фабрики. Часть ее освещена единственным горящим в округе фонарем. Правая сторона улицы заставлена двухэтажными бараками. Они и днем-то безликие, ободранные и засеревшие, а ночью — даже не понять, кто кому дарит тень: бараки ночи, или ночь баракам. Лишь в одном окне, обклеенном газетой, помню, горел яркий свет. За мелкими буквами и черно-белыми фото располагался известный здесь дешевый бордель.

Еще помню акации. Они отделяли шлакоблочную старую дорогу от тротуара, на котором дыр было больше, чем на поеденной молью бабушкиной шали.

В те акации и закатился один из чертей, когда я залепил ему в переносицу.

В этой мизансцене я почему-то вижу себя ободранным медведем или раненым йети. Он мечется в небольшом квадрате, отмахивается от мелких людишек, а те прилипли и с настырностью детей пытаются посадить медведя на колени.

Но реприза по-прежнему в провале.

...Сил все меньше, воздух уже не глотаю, а всасываю, подламываются ноги и грудь вот-вот проломится. Стою. Пытаюсь вырваться. Пока не получается. Пацаны бросаются мне под ноги, прыгают на меня, и уже почти рыдают от бессилия.

Почти рыдаю и я. Но показывать слабинку перед кодлой — не по понятиям.

...Понятиям я научился на фабрике игрушек. Здесь было много пересидков, которых никуда больше не брали. Выдувать пленку тоннами, сматывать в гигантские — два-три метра толщиной — крепкие, плотные рулоны, а потом резать их под нужную ширину практически вручную — от такой работы отказываются даже самые нуждающиеся. Поэтому берут всех.

Я попал на фабрику игрушек из-за возраста — в свои семнадцать мне нелегко найти другую работу.

Ночами, когда нам не подвозили гранулы — из них выдувается пленка, — мы пили чай на посту, так называлась небольшая будка, приподнятая над уровнем пола метра на три. Из ее окна хорошо просматривался весь наш цех, заваленный рулонами, заставленный станками. Посередине стояла «выдувка», — внушительный аппарат с конусами, из которых по специальным рельсам ползла пленка — сначала метров на восемь вверх, потом — метров десять параллельно потолку и, наконец, плавно опускалась вниз, здесь ее подхватывали рабочие и набрасывали на вертящуюся балку. На этой балке наматывалась очередная «бомба». Катушка стояла на неровном полу, поэтому ее то и дело носило из стороны в сторону, из-за чего пленка ложилась в рулон неровно. Самой тяжелой работой было удерживать катушку. Это обычно делали новички. Из новичков. Металлические ножки катушки то и дело отпрыгивали на бедро, отдавливали ноги, били под колени.

Так вот, когда гранулы — мы их называли «зернами» — не приходили, мы коротали ночи за болтовней под цифир. Я был самым молодым в бригаде, поэтому все считали своей обязанностью поучить меня жизни.

Старшим в нашей смене был Рома, мужик лет тридцати, низкого роста, в спортивном костюме и в толстенных очках. Он походил на тренера женской волейбольной команды или на пациента больницы, на деле же на Роме висел срок за налет на магазин.

— Слушай сюда, — начинал он свой урок. — Пьяному море по колено, пьяному можно все, бить бухого не по понятиям. Не прав по-любому тот, кто бьет бухого.

— Я знаю, — осаживал я Рому дерзко, по-подростковому.

— Да не х.. ты не знаешь. Вот попадешь — понюхаешь. Сюда слушай, говорю.

Однажды старший рассказал, что прыгать в драке толпой на одного тоже не по понятиям.

...Хрустнувшая переносица снова блестит в метре от меня — черт выкатывается из акации, рядом с ним блестит еще что-то. Нож.

То ли страх смылся в ночь, поняв, что здесь ему ловить больше нечего, то ли кто-то из шимпанзе перебил мне нервы, но ножа я не боюсь. Я уверен и спокоен, как канатоходец.

Спокойствие прекрасно, но не в драке с отбросами.

Я не замечаю, как этот ублюдок пыряет мне в бочину.

Снова — хруст. И это не ветка под ногами. Лопается — внутри меня. Звук — будто трамвай поворачивает на крутом повороте по ржавым рельсам.

Дальше — тишина. Глаза ищут в темноте ответ — что, правда? Вот так сдохну? — и нашаривают фонарь над фабрикой. Свет по-прежнему забирает у ночи кусок фасада и забора. Я замечаю трубу на крыше. Из трубы, неуверенно подергиваясь, вываливается густой дым.

Дым шумит.

...В ночную никто особо не вкалывал. Намотаем рулонов пять, и хватит. А в ту смену и двух не сделали. Старший поругался с женой — веская причина остановить цех. «Че-то нет настроения, ребзе. Ну ее нах, дневные доделают», — и в будку.

Снова слушать базар за жизнь, глотая вязкий дым, не хотелось. И я — решил побродить по огромному зданию фабрики. Конечно, меня тянуло на верхний этаж. Где-то там когда-то делали игрушки, и это как минимум необычно. Там сейчас явно не пустые стены, иначе бригадир не запретил бы туда подниматься.

К лестнице на третий этаж вел широкий темный коридор. Знакомый до равнодушия. А вот сама лестница пугала своей неизвестностью, как высокая малоизученная гора. Дойдя до ее подножия, я с трепетом шагнул на первую ступеньку. Откуда-то сверху сразу повеяло запахом старых подвалов.

Я прошел один пролет, впереди оставались еще один и поворот направо. Я понимал, там тоже должен быть широкий коридор, а в конце его... Дверь? Закрытая? Решетка? Или путь в цех был свободен?

Взбежав на третий этаж, я достал карманный фонарик. Может быть, сейчас преувеличиваю, но тогда мне показалось, что от луча темнота как бы отшатнулась, как бы испугалась света с непривычки, будто давно ее никто не тревожил. Стало страшно. Беспokoйно. Луч царапал бетонный пол, стены, иногда задевал настенные плакаты — мишки олимпийские, мишки белые. Возникла мысль: содрать один на память — это же какой раритет, друзья сойдут с ума от зависти — но адреналин уже делал свою работу, гнал вперед.

Андрей Фамицкий

Одно из ремёсел

* * *

бестолково толкаться боками,
как шары бильярдные, здесь.
а вот были бы мы облаками —
расстарайся и небо завесь.

и пролейся на головы людям
бестолковым июньским дождём...
ну а если мы ангелы будем, —
приземлимся и рядом пойдём.

* * *

а рядом, лёжа, сын читает книжку,
он пожиратель книг.
храни Господь вот этого парнишку,
позволь жить напрямик.

поменьше бед, любовей, приключений,
о чём так молит он,
лишь тихий сад, шезлонг ежевечерний,
молчащий телефон.

Ты был отцом, когда в глухой пустыне
Твой возносился глас,
Ты заклинал молитвенно о сыне,
но кто его не спас?

Фамицкий Андрей Олегович — поэт, переводчик, главный редактор литературного портала «Textura». Родился в 1989 году в Минске. Автор четырех поэтических книг, среди них — «Жизнь и её варианты» (М., 2019) и «minimum» (М., 2020). Живет в Москве.

В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

* * *

отец-то был большой бунтарь
и маленький поэт
он заставлял зубрить букварь
и больно бил в ответ

когда я путал мягкий знак
кулак был твёрдым как
вы угадали твёрдый знак
«иди сюда дурак»

теперь я сам во многом спец
жи-ши ать-ять зи-си
когда мы встретимся отец
пошады не проси

* * *

батя вернулся с войны
«вольно, — сказал, — пацаны
не для того я вернулся
чтоб вы надули в штаны»
и на меня оглянулся

я мастерил самострел
он на меня посмотрел
«значит ещё повоюем?
дай обниму пока цел»
сдобрил скупым поцелуем

старой пахнуло землёй
тёмной избой нежилой
чем-то чужим и колючим
«значит характер взрывной?»
и наклонился к онучам

«ты не смотри что мертвец
я всё равно твой отец
и никакая кончина
не помешает малец
быть им и это причина»

Господи сколько свинца
Ты посылаешь в сердца
смерть есть одно из ремёсел
так умертви мертвеца
он и живой меня бросил

* * *

привидится чертовщина
в четыре часа утра,
как будто уже мужчина,
но всё ещё сирота.

что будущее безбожно,
а прошлое есть и есть.
а всё-то идёт как должно —
встаёшь на работу в шесть.

* * *

любовь как кладбище. могила
уже присыпана снежком,
а за ночь столько навалило,
что впору ждать того, с мешком.

ты драгоценный мой подарок
хранишь, как самый лютый страж.
то, для чего я перестарок,
ты всё никак мне не отдашь.

Давид Маркиш

ТИЛЬ-МИТИЛЬ

Рассказ

Мока Гринберг был человек, достойный подражания — дурных дел за ним не водилось, нравом он отличался тихим и покладистым, хотя панибратство и не приветствовал — считал его дурным тоном. Почему «Мока», вот ведь вопрос! Не Миша, не Мойше, даже, на худой конец, не Мика, а именно «Мока». Почему? Откуда это взялось и к Гринбергу прилепилось как банный лист? Никто, начиная с самого Моки, этого не сумел бы объяснить. В Воронеже, где он появился на свет, его нарекли именем «Миша» и так и записали в метрике: «Гринберг Михаил Исаакович, год рождения 1960». Коротко и ясно. Но урожденное имя недолго продержалось. Как видно, в семье папа с мамой сызмальства называли сыночка Мокой — по причинам, затерявшимся в недрах времени. Ну, Мока так Мока; не зря, нет, не зря русские люди, включая сюда краешком и евреев, почерпнули бадьей из колодца народной мудрости: «Назови хоть горшком, только в печку не сажай». Его никто никуда и не сажал, но люди, знакомые и вовсе ему незнакомые, дивились: «Что это за имя такое!» А тридцать лет назад, по приезде в Тель-Авив на ПМЖ, он с удовольствием сердца узнал, что одного знаменитого израильского героя и адмирала тоже зовут Мока.

Родители Моки, как говорится, «академиев не кончали» и звезд с неба голыми руками не хватили, как картошки из кострища, — то были простые воронежские люди, зарабатывавшие на хлеб унылым трудом и дальше ближайшего понедельника не заглядывавшие. Партийный Исаак с разводным ключом в руке для обнаружения неполадок обходил жэковские котельные свердловского района, а мама орудовала шваброй и половой тряпкой в родильном доме имени Павлика Морозова. Неполадок в изношенных котельных было пруд пруди, а в роддоме новые папы дружно дули водку на лестничных площадках, курили и плевали на пол; до гигиены тут было не близко. Так что тем ученым специалистам, которые в еврейском национальном меньшинстве сплошь видели городскую интеллигенцию, в семье Гринбергов нечего было искать.

Но и этому паскудному выживанию, которое, по въевшейся в душу привычке, Гринберги принимали за достойную социалистическую жизнь, в бедовые 90-е, с наступлением эпохи красных пиджаков наступил конец. Котельные пришли в полное обветшание, а родильный дом имени Павлика Морозова перестал платить зарплаты и

Маркиш Давид Перецович — прозаик, поэт. Родился в 1939 году в Москве. Автор более двух десятков книг. Участвовал в арабо-израильской войне (1973), был советником премьер-министра Израиля И.Рабина по связям с русскоязычной общиной. Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь» и др. Живет в Израиле.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 10.

перешел на самотек. Чтобы не пропасть, Гринберги поменяли направление своих жизненных усилий и заделались вольными предпринимателями: занялись сбором и продажей металлолома. К несчастью, они оказались не одни в этом диком поле, где железяки — эти останки минувшего времени — валялись порой совершенно безнадзорно. Бандюки, тучно расплодившиеся к тому времени, взяли прибыльный и к тому же не требовавший вложений железный промысел под свой контроль, и воспрянувшие было духом Исаак с женой, собственным чаяниям вопреки, оказались конкурентами опасных людей. Конкуренция, как к ней ни подойди, прямым путем ведет к конфронтации и размахиванию кулаками, ну а дальше как карта ляжет... Карта Гринбергов легла плохо: однажды они со своих поисков не вернулись, а их «бизнес» перекочевал в руки тех, кому они дорожку перешли. На все запросы Моки, куда пропали родители, милиция выражала понимание, но пожимала плечами: сбор металлолома рискованное занятие, случается, что и со смертельным исходом; хорошо бы в моргах поспросить. Но и в моргах Гринбергов не оказалось, надо было их искать в недрах городской свалки или под бетоном дороги.

Оставшись сиротой среди бела дня, воронежский уроженец Мока Гринберг решил, не откладывая дела ни на день, ни на час, ехать в Израиль на постоянное жительство. Хватит!

Надо сказать, что в жизни каждого еврея возникает в свой час, подобно знаменитым огненным письмам «Мене, текел, фарес» на вавилонской стене, неумирующий вопрос: ехать или не ехать? Куда ехать — это не требует наводящих вопросов и ясно без подсказок: на историческую родину, вот куда! Вопрос появился две тысячи лет тому назад и тлел и дымил, пока в советской России не занялся ярким пламенем, а после того, как большевиков прогнали от власти, и вовсе полыхнул на воле: «Поехали!» Но поехали не все, Гринберги не тронулись с места, следуя вязкой поговорке: «Где родился, там и пригодился». Да и как могли подняться и ехать *все!* Так не бывает: всегда объявится тот, кто пойдет против течения; на том держится мир.

К тому времени в жизни Моки случилось немало вещей: он окончил кулинарные курсы, отслужил в армии, женился и развелся. Разведенная жена по имени Фаня, уехала с новым мужем на Дальний Восток и исчезла из вида, а разведенец, погоревав умеренно, приступил к жизни молодого одиночки на собственной жилплощади, в комнате запущенной коммуналки на воронежской окраине. В загул, освободившись от семейной узды, он не пустился по причине ровного склада характера, пить он по-настоящему не пил — а ведь мог и запить, и загулять как мужчина в расцвете сил. Кулинарная ночная работа, державшая Моку Гринберга в ласковых руках, оберегала его от загула и запоя — он, как ни странно это может показаться окружающей публике, нежно любил свое занятие и находил в нем предначертанье Бога, в которого не верил, но чье существование иногда непостижимым образом допускал. Божье дело, исполненное такой красоты, от которой и лошади плачут! Как же его не любить...

Мока был пекарь. Печь хлеб — что может быть важнее и почетнее среди людей! Хлеб — царь стола, картошка — царица. Ни военный маршал, ни министр с кожаным портфелем пекарю и в подметки не годятся. Дать человеку хлеб — значит, дать ему жизнь, а стрелять в него из автомата, значит, жизнь эту отобрать; вот и вся недолга.

По прибытии на историческую родину Мока Гринберг долго без работы не ходил: пекарь повсюду востребован — хоть на исторической, хоть на доисторической. Работа для него обнаружилась в придорожном, в окрестностях Тель-Авива, мясном ресторанчике самообслуживания с непонятным никому названием «Тиль-митиль». Ни арабы-шашлычники за стойкой, ни еврей-хозяин за кассой понятия не имели, что это за «митиль» такой, что он обозначает и на каком таком языке. Единственное, что дотянулось до наших дней из отдаленного прошлого — это поблекшая ссылка на то,

что на этом самом месте стояла полвека назад покосившаяся забегаловка, где жарил сочные свиные стейки Бородатый Роман — русский человек, похожий на разбойника с большой дороги. Этот Роман, уверявший, что уровень содержания алкоголя в его крови приближается к восьмидесяти процентам, по неведомой причине называл свою неприметную, без вывески забегаловку «Тиль-митиль», и благодарные посетители тоже ее стали так называть. Можно не сомневаться в том, что жизнелюбивый Роман о Метерлинке никогда не слышал, и узнай он расчудесным образом, что название его шалмана повторяет имена героев неведомой ему «Синей птицы», сильно удивился бы. Но он не узнал... А когда восьмидесятипроцентный Роман умер — пришел его час — и покинул наш круг, его придорожное мясное заведение сменило хозяина и обновилось по всем статьям. Под старым красивым названием оно расцвело пышным цветом; от посетителей не стало отбоя, особенно по субботам. Ну что ж: толерантность правила бал за окнами задумчивых синагог, свиноеды перестали считаться изгоями и вышли из тени на свет. Широта взглядов во всем проявлялась, вот только свинина, как и прежде, жеманно называлась «белое мясо» или, в лучшем случае, «другое мясо»; но ведь и у толерантности, в конце-то концов, тоже есть границы.

На своей новой работе Мока, как и в Воронеже, трудился по ночам: утром, к открытию заведения, свежий теплый хлеб должен быть в достатке. Едоки брали хлеб из деревянного ларя — кто сколько пожелает; «Тиль-митиль» славился не только «белыми» стейками с жареным луком, с огня, но и душистым хлебом. В ларе, вперемешку, были насыпаны по самую кромку средиземноморские питы, иракские лепешки, армянский лаваш и грузинский хлеб-пури, печь который Мока научился много лет назад в кутаисской пекарне «Багратиони», куда его занесло прихотливым ветром жизни. Не было никакого другого места во всей земле обетованной, где желающий получил бы почти настоящий грузинский пури, кроме как здесь, при дороге, в «Тиль-митиль». И в низкой подсобной пристроечке, где Мока собственноручно соорудил круглую тандырную печь, уже под утро, когда хлеб дозревал и поспевал в красной жаре тандыра, воцарялся Божий счастливый аромат грузинского хлеба.

Здесь же, в подсобке, на выдавшем виды просиженном диване Мока и спал в свободные часы. Была у него и собственная крыша над головой — полученная от государства однокомнатная квартирка в Яффе, в неблагополучном районе, в доме для пожилых эмигрантов-одиночек. Там, под замком, хранил он пожитки, привезенные из России: зимнее драповое пальто, в нашем климате ни к чему не пригодное, и коричневый фибровый чемодан с разными памятными вещами — фотографиями, письмами, трудовыми грамотами, галстуком в полоску и заботливо завернутым в папиросную бумагу, выточенным из дерева макетом летающей тарелки, размером с две сведенные ладони. В Яффу он навещался нечасто, раз-другой в месяц: делать ему там было решительно нечего. Море, плескавшееся под боком, его не манило, а приятелей среди пожилых соседей-одиночек по коммунальному дому он так и не завел.

Куда интересней жить было в пекарне мясного заведения «Тиль-митиль», при дороге. С утра к полудню поток посетителей прибывал, мясоеды рассаживались в кормовом зале ресторанчика за легкими пластмассовыми столиками на тонких алюминиевых ножках или во дворике, под сенью сросшихся кронами вековых эвкалиптов. За разносолами сюда не ездили: опущенные жирком стейки, доставленный из арабских деревень хумус, жгучий турецкий салат, йеменская перечная приправа и пивко; и это все, и этого достаточно. А кому недостаточно, несут с собой бутылку горячительного напитка, а то и две, и тогда под эвкалиптами, вместе с водочкой, привольно льется родная русская речь, иногда переходящая в песню.

Отдохнув на своем диване после ночной работы, Мока выходил в зеленый дворик и усаживался на одинокой лавочке, не отведенной для посетителей мясного заведения.

Александр Бушковский

Чудо

Рассказ

Великий Искандер Двурогий, стремясь властвовать над миром, к тридцати годам покорил почти всю Ойкумену, землю, известную путешественникам и мореплавателям. Не потерпев ни одного поражения в бесчисленных битвах, неся культуру эллинов на своих сариссах, его фаланги прошли всю Европу, Малую и Среднюю Азию, Северную Африку и Ближний Восток.

За бескрайними песками африканских пустынь земля кончалась, пересекать их не имело смысла, это было известно любому уважающему себя ученому. На севере Европы в вечных снегах и льдах тоже нет людей, там живут лишь колдуны и косматые звероптицы с медвежьими головами, орлиными крыльями и человеческими ногами. Ближний Восток обрывался в бесконечный океан, в нем плывет весь обитаемый мир, это знают даже дети. Оставался только восток дальний, где лежат и дремлют полусказочные Индия и Китай.

О Китае царю было известно лишь то, что за огромной каменной стеной там живет несметное количество желтолицых людей с раскосыми глазами, что носят они удивительные одежды и прически, что все они грамотеи и пишут непонятными черными значками на хрупкой белой материи.

А Индия и вовсе была дикой и таинственной. Она окружила себя горами со снежными шапками, и вершины самых высоких спрятались в облаках. В Индии, по слухам, полно чудес. Здесь живут слоны и драконы, цари владеют несметными богатствами, волшебники-йоги могут ходить по воде и углям, не боятся сабель и стрел, а мудрецы знают, как устроен мир. Они владеют величайшими тайнами жизни и судьбы, но никому не открывают этих тайн.

Искандер желал покорить весь мир без остатка и узнать секрет мироздания. Блестящий полководец, завоеватель и любознательный ученый, он не хотел смириться с тем, что на свете есть вещи, неизвестные и неподвластные ему. Уже была заложена Александрия с ее библиотекой, уже разрублен Гордиев узел, уже сложил оружие властелин огромной империи Дарий, и побежденные народы называют Искандера

Александр Бушковский родился в 1970 году в селе Спасская Губа Кондопожского района Карелии. Окончил Санкт-Петербургскую юридическую академию МВД РФ. Публиковался в журналах «Север», «Октябрь», «Дружба народов», «Вопросы литературы» и др. Автор трех книг прозы. Лауреат премии журнала «Вопросы литературы» (2011). Живет в Петрозаводске.

Великим и сравнивают с солнцем, а покоя и удовлетворения все не было. «Чем большим владеешь, тем сильнее жажда владеть всем остальным», — знал он. Царь устал и ожесточился, но не останавливался. Ведь никто до сих пор не смог оказать ему настоящего сопротивления. Значит, именно он должен стать властелином миров. Но сила власти — это еще не все. Знание — вот истинная сила. А корень знаний — философия. Искандер жаждал найти ответы на мучительные вопросы, растущие в его голове, как пыльный ком на чердаке. Он искал нового учителя и надеялся, что в Индии есть такой.

Гефестион, друг Искандера, командир ударного крыла фаланги, видел эту жажду, хоть и не испытывал ее. Он был солдатом, и его философия заключалась в преданности царю и вере в короткий меч. Это прекрасная философия. Она наполняет душу адепта покоем, а тело его делает похожим на окованный медью таран, каким ломают ворота осажденных городов.

Каждый вечер и каждое утро Гефестион обходил посты вокруг царского шатра. Искандер с войском уже достиг предгорий, разбил маленькие армии местных раджей, рассеял смуглых низкорослых индусов по джунглям, но тут муссоны с океана принесли тяжелые душные ливни. Стало невозможно двигаться вперед. Хрустальные горные ручьи превратились в ревущие потоки цвета глины, катящие вниз валуны и стволы деревьев. Оползни утаскивали в ущелья размокшие палатки солдат, колесницы с лошадьми и навьюченных верблюдов. «Откуда в небе и в горах столько воды?» — недоумевали солдаты, привычные к летним засухам и не желающие жить по колено в грязи. Гефестион прислушивался — солдаты роптали. Чего хочет царь? Почти весь подлунный мир в его руках, десять лет битв, десять лет побед, не пора ли начать царствовать, править мудро и гуманно? Молчали только гвардейцы охраны, по мрачным лицам которых струился дождь. Время шло, царь медлил, войска терпели ливень, темнели ржой и набухали сырой кожей.

«Искандер ждет доброго знамения, — думал Гефестион, — а нам нужен хотя бы один солнечный день. Ведь солнце сильнее дождя, дождь не может идти вечно. Пусть только выглянет солнце, и я найду царю этот знак».

И конечно, солнце вышло. Его сияющие лучи загнали реки в берега, оградили крокодильи болота мостовыми засыхающего ила, и джунгли предгорий задышали горячим паром сохнувшей листвы. Ранним утром было уже жарко, и Гефестион, уйдя подальше от лагеря, спустился к реке, чтобы смыть с себя ночную духоту и испарения жирной земли.

На берегу ручья, бегущего к реке, в молитве стоял на коленях худой и темный старик, весь голый, только тряпица на чреслах, и протягивал к солнцу руки. Солнечные лучи сверкали в седых волосах, будто золотой венец, а тело старика, как сухая ветка, дрожало в знойном воздухе.

«Ну, что ж, вот он, — спокойно решил Гефестион. — Царь говорил, что хочет найти нищего мудреца, о котором рассказал ему Аристотель, и поговорить с ним. Судя по занятию этого старика, он вполне может оказаться мудрецом. Возьму его к царю».

Гефестион вброд перешел ручей и остановился за спиной старика, присевшего у воды на корточки и умывающего лицо. «Эй!» — позвал воин, и старик обернулся. С длинной бороды стекала вода, но в выцветших глазах не было испуга.

— Идем со мной! — сказал Гефестион и поманил старика пальцем. Старик внимательно посмотрел в лицо воину и, прежде чем тот повторил жест, встал и пошел за ним. Он оказался высоким, спину держал прямо, а двигался легко. Они шли рядом,

Илья Мамаев-Найлз

Words Unsaid

Рассказ

Все началось в Израиле, в душном минивэне с закрытыми окнами. Машина тащилась сквозь толпу торгашей, они стучали по стеклам раскрытыми ладонями. Не косточками пальцев, как стучат по двери, а мокрыми бледными щупальцами, оставляя на окнах отпечатки — короткие линии жизни, любви и успеха.

От ужаса Артём забывал моргать. Его семья молча отказывалась от безделушек, продавцы злились и кричали проклятия. Артём хотел зажмуриться и заткнуть уши, но не мог пошевелиться и беспомощно впитывал чуждые звуки. Но зарычал двигатель, и все пропало. Спереди раздалось жужжание, щелчки заевшего механизма стеклоподъемника, и в салон дуло раскаленным городом. Желтые стены домов сливались с желтым песком и желтым солнцем. Артём вдохнул, и обжигающий воздух вошел в легкие, оттуда — в кровь, через которую во все клетки тела проникло отчаяние. Состояние требовало темноты и холода — козырька кепки, опущенного до носа, чтобы никто не заметил, как капли пота смешиваются на щеках Тёмы с каплями слез от попыток удержать рвоту внутри глотки. Соленые ручейки бежали вниз, распухшую кожу щипало, но он не протирал лицо — руки лежали неподвижно, как будто у него все было хорошо, как будто он просто уснул.

Нога до сих пор болела — он подвернул ее в пещере Рождества.

Хотя Артём мало что знал о вере и человечестве, он почувствовал, что находится в месте невероятной исторической важности — в точке отправления. И люди вокруг вели себя так, словно зашли в вагон метро: не смотрели друг на друга и молчали. Огромный пласт тысячелетней культуры в виде нависшей тишины качнул их вагон, Артёма пошатнуло, и он неправильно шагнул на ступеньку. Боль резко ударила лодыжку, и захотелось взвыть, но он не издал ни звука. Отец заткнул ему рот.

Слезы, пот и сопли смешивались и скатывались по его сжатым бледным губам. Артёму нужно было попросить воды или, может, остановить машину, сказать, что его укачало, но он не мог. Нет, в его семье плохое остается несказанным. Машина влетела на кочку, водитель вскрикнул что-то на иврите, но Артём уже этого не слышал: его

Илья Мамаев-Найлз родился в 1996 году в Йошкар-Оле. После окончания школы поступил в Марийский государственный университет на специальность «учитель английского и немецкого языков». На втором курсе ушел из дома путешествовать автостопом и жить в машине. Ставил танцевальные спектакли в театре. Работал учителем английского языка в школе и бариста в кофейне. Живет в Санкт-Петербурге.

В «Дружбе народов» его первая публикация.

несказанные слова не удержались внутри и вслед за взлетом автомобиля ринулись вверх, и Тёму вырвало на только что купленную икону из Вифлеема. Это было самое начало 2000-х, и Артём еще даже не пошел в школу.

Икону поставили на комод в столовой к другим сувенирам: деревянный Будда, Эйфелева мини-башня, монеты разных стран, вязаный член из Исландии (он долго не простоял), разные игрушки и японская кукла Дарума. Она исполняет желания: загадываешь, закрашиваешь один глаз, а когда сбывается, закрашиваешь второй. Артёму ее подарили в расчете на то, что он загадает хорошие оценки или мобильный телефон — что-то понятное и выполнимое. А Артём загадал, чтобы все люди были счастливы.

Потом мама узурпировала икону — поставила на свою прикроватную тумбочку. Она начала ходить в церковь и решила создать филиал в спальне. Никто не возражал. То есть никто и не заметил: учитывая обстоятельства, до Богородицы с младенцем Иисусом никому не было дела.

Папа изменил жене с инопланетянкой: в телефоне любовница была записана как «УФО». Сколько Артём ни ломал голову, он не мог вспомнить знакомых тетей с такими инициалами. И он не понимал, как отец мог променять маму, которую звали Любовь, на какую-то Фаину или Фёклу. Когда между отцом и сыном состоялся первый и последний мужской разговор о женщинах, папа сказал, что восточные женщины очень привлекательны в молодости, но в старости ужасно угловатые. Артём тогда испугался, что ее могли звать Фарида.

Они с сестрой никогда не обсуждали произошедшее. Нельзя назвать полноценным обсуждением единственную реплику сестры: «Понимаешь, они ведь разведутся!» и «Как это? Этого не может быть! А как же мы?» — написанное на лице маленького Тёмы. Тем не менее он знал наверняка, на чьей Моника стороне. Она всегда была папиной дочкой. Хотя ей тоже было непросто, она не плакала.

Хладнокровность и прагматичность — она переняла эти качества у отца и развила их, как иные школьники до максимума прокачивают в компьютерных играх первое оружие. Для отношений с людьми оно было губительным, но для работы с лошадьми, с которыми она проводила большую часть дня, — самое то. Моника представлялась Артёму неуязвимой, как Ахиллес, то есть настолько же уязвимой: с одним лишь слабым местом — холодной головой, которая не дала ей утонуть во время развода родителей.

Они остались вместе. Это не соответствовало правде даже территориально: мама осталась в родительской спальне, а папа навсегда переехал в гостиную. Постельное белье сняли с дивана только когда к ним приехала журналистка местной газеты. В городе проходил конкурс «Лучшая семья года».

— Скажите, вы счастливы? — спросила журналистка у Моника.

— Ой, конечно! У нас прекрасная семья! Мы много путешествуем и... ездим по разным странам!..

— Чудесно-чудесно... У Вас необычное имя. Назвали в честь Моника Беллуччи? — подмигнула журналистка родителям.

— Да, — ответил отец.

— А Вы, Артём, как живется Вам?

— Очень хорошо... — ответил он, обдумывая, как бы ему незаметно удалить свою последнюю запись ВКонтакте: «Пистолет к виску — и все проблемы решены...»

— А что это за необычная куколка?.. Китайская, да? А почему только один глаз закрасен?

Сухбат Афлатуни

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

СКОЛЬКО ИМЁН У СЧАСТЬЯ

Молчаливая Пасха

как больно светит свет — как больно
шумят деревья — каждый звук
царапина
сознания

в тот апрель земля умолкла — люди
гнездились по домам —
в телевизор в дисплей

церкви стояли — сгустки пустоты
никто никто
только священники — и свечи

старухи протирали пол
и пахло хлоркой
.....

в этой тишине Он был распят
гвозди тишины
бесшумно — пол в крови — протрут

никто никто
удар удар
и шёпотом: лама сававхани?

распятый тишиной висел Он
никем не снятый —
карантин

Сухбат Афлатуни (псевдоним; настоящее имя — Евгений Абдуллаев) — поэт, прозаик, переводчик, критик. Родился в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского университета. Автор нескольких книг стихов и прозы, среди них — «Русский язык» (М., 2019). Дважды лауреат «Русской Премии» (2005, 2011), лауреат молодежной премии «Триумф» (2006). Живет в Ташкенте. Постоянный автор «ДН».

только Иосиф из Аримафеи
тайком ползком
с маской на лице

.....
под личную ответственность
.....

а утром было счастье
внезапное
и чистое как воздух

(в те дни машины
почти не ездили
воздух был прозрачен)

и утром
было утро

* * *

сколько имён у счастья — счастье-дуб
счастье-лужа (свет) счастье-река
загибаю пальцы — расту — губы
погружаю в тёмную нутрь облака
втягиваю пламя — бледнеет дуб
счастье-лодка вдоль счастья-реки
от ладоней
мальки

сколько имён у счастья — сколько имён
у воздуха — дышишь и
превращаешься в солнце — слышишь случайный звон
берег уже пронесли
мимо — как полосу перемен
дуб исчезает — и из воды
не вынуть руки
весь день

* * *

каждое утро
мои нерождённые дети
стоят под окном и молчат

каждое утро
мои ненаписанные стихи
стоят под окном и молчат

каждое утро
мои невыполненные обещания
стоят под окном и молчат

постояв и покурив
уходят

* * *

когда умирают мужчины
почему-то расцветают цветы
она это давно заметила

вдруг решает цвести
почти сдохшая фиалка
восковой плющ
покрывается маленькими
хищными звёздочками
а запах

и роза — розы у неё обычно не стоят
а тут на тебе — две недели

она боится
остался один сын
пьющий стареющий злой
пусть будет такой
не надо
не надо
ну не цветите же

* * *

глаза
взмахнув ресницами
улетают с лица

нос
сползает с лица
уходит ковыляя

уши
напрягшись и покраснев
спрыгивают

только рот
остаётся на лице
до конца

говорит и говорит

как будто

всё видит без глаз
чувет без носа
слышит без ушей

всё знает

Турсун Али

С узбекского. Перевод Сухбата Афлатуни

Из цикла «Внутренний пейзаж»

* * *

Долго смотрю из окна.
Кого ищу?
Чего высматриваю?
Напрасно.
Беспредельный мир
пуст,
как моё сердце.

* * *

Луна стареет,
Солнце состарилось,
Земля одряхла.
Мир стар.
Послушай,
мне нужно сказать тебе что-то...

* * *

Твоё письмо так кратко,
сырой листок из тетради;
умру — хватит на саван.

Из цикла «Ночь»

* * *

Всю ночь — лай собак.
Не темноту они грызли —
сердце моё.

* * *

Ночь. Пробудился
от шороха
бродившей за окнами луны.

Турсун Али (Турсунали Урмонов) — поэт, переводчик. Родился в 1952 году в Кувинском районе Ферганской области. Окончил филологический факультет Ташкентского университета, работал в СМИ. Автор многочисленных поэтических сборников. Переводит на узбекский язык русскую, японскую и китайскую поэзию. Живет в Ташкенте.

* * *

Тяжесть в груди —
сыч тревожно кричит,
а роща ещё зелена.

Из цикла «Холод»

* * *

Как ты прекрасна, вдова;
прижавшись к дереву
гляжу — безязыко, бессильно.

* * *

Точно нервы твои спутались,
от июльского ветра —
в мурашках озноба душа.

* * *

Голос мой постарел;
может,
постарев раньше тела,
ты сгораешь, как осень,
мой сильный когда-то голос?

* * *

*Читая рассказ Назара Эшанкула
«Чёрная книга»*

У него нет глаз
нет бровей
но
есть сердце
тёмное как пригар на казане

Человек без глаз
он
когда ты ходишь как алиф¹
когда смеёшься как волна
светлеешь как луна
видя это
не видит

¹ Первая буква арабского алфавита в виде вертикальной линии; в классической арабской, персидской и тюркской поэзии — символ стройности.

Без глаз
без век
без лица
человек
пьёт себя
клюёт себя
пережёвывает себя.

Из цикла «Одинокий человек осенью»

* * *

Муравей,
иди сюда,
скоро полночь,
давай-ка отдохнём.
Каким
будет завтра?
Знаешь?
И я
не знаю.

* * *

Внутри меня
скулит собака.
Когти
царапают грудь.
Рано или поздно
ухватит за сердце.

* * *

В полночь
человек не спит,
думает всё:
как ночь-то длинна,
как луна высока.
В полночь
человек не спит,
погасит свет,
снова зажжёт.
Снова встанет,
свет погасить.
Как бы достать
до луны?

* * *

Всю ночь
по садам
гулял ветер пьяный.
Утром
мотает стройное дерево
растрёпанными волосами.

* * *

Покидало рошу старое солнце.
Опускались волнами-волнами
птицы на плечи деревьев.
А ночью — иней,
лежишь, зябнешь...

* * *

На ветке урючины — ржавый серп;
видно,
кто-то забыл.
Может,
садовник, тоскующий по лету.

* * *

Странно,
в саду торчит
колышек старый.
Вбили его
для скота.
А сегодня
ворона на нём отдыхает.

* * *

Пятнистая ночь,
нет сна.
Как змея, извертелся, извился.
Рядом —
тихо спящий нож.

Из цикла «Глаза дня»

* * *

Ветер, угомонись;
даже вполсилы не дуй —
пусть в тишине расцветает джида.

* * *

Куда идёшь, муравей?
Груз на спине — как гора.
Бедные мои кости.

* * *

Сынок, хватит спать, проснись!
Видишь, в окно глядят
светлые глаза дня.

Татьяна Шапошникова

Созданы друг для друга

Повесть

1

Катя понимала, что немилосердно тянет с выздоровлением. Будучи врачом, она знала, что здорова, но всячески оттягивала наступление момента, которого так ждали ее родные и те немногие из друзей, еще не забывшие ее после того, что произошло: когда она понемногу, шаг за шагом, начнет возвращаться в прежнюю жизнь. Возвращаться к ним. Надо сказать, что сама себе она напоминала пациента из травматологии после масштабной автокатастрофы: на ноги встала после нескольких месяцев полной фиксации в хирургической кровати — и застыла в нерешительности и беспомощности: сделать этот хрестоматийный первый шаг или все-таки не стоит? Рухнуть обратно в койку?

Не следовало вставать — вот что.

Нет, родные и друзья пока еще не знали, а вот она знала, что никогда больше не вернется. Но как объяснить им — двадцатисемилетнему сыну, тринадцатилетней дочери, — что она не способна стать прежней, и ей просто ничего другого не оставалось, как продолжать симулировать.

Поначалу Коссович взял на себя абсолютно все. Он вместе с ней ел, спал, менял ей белье, причесывал, следил за одеждой, обувью, настаивал, чтобы она принимала ванну — и при этом крутился где-то поблизости: контролировал. Просто поразительно, как мгновенно в их квартире на Непокорённых сломались задвижки в туалете и ванной, а потом друг за другом стали исчезать колющие и режущие предметы — Коссович тоже свою профессию знал на «отлично»! И ходил он в первые недели с ней вместе. Повсюду. За руку.

После приема пищи подсовывал ей «таблеточки». Катя мотала головой:

— Не нужно. Я справлюсь.

Она бы, может, и попробовала эти «таблеточки» — узнать бы, чем всю жизнь потчевала своих подопечных, — только ей претил сам факт, что Коссович вот точно так же в свое время протягивал точь-в-точь такие же «таблеточки» своей жене, а потом и дочери.

Шапошникова Татьяна Викторовна родилась в Ленинграде. Редактор, переводчик, прозаик. Окончила Северо-Западный институт печати. Печаталась в журналах «Звезда», «Аврора» и др. Лауреат премии журнала «Звезда» за 2016 год. Автор сборников рассказов «По чёрным листьям» (М, 2017), «Последний аргумент» (М, 2018). Живет в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Чтобы «справиться», в ход пускалось белое сухое вино — почти каждый вечер. Но дозу свою она знала, спиваться не собиралась. Скорее, наоборот, она искала способ обрести некоторое равновесие, чтобы возобновить работу мысли: необходимо додумать кое-что очень важное (оно было, это важное, оно сидело у нее в голове, она ощущала его почти физически), но пока она не могла ухватиться за это столь необходимое, основу основ, облечь ее в слова и вывести, так сказать, на печать — увидеть глазами: мозг не слушался, а с эмоциями что-то случилось, они больше не захлестывали, как когда-то, не били через край, не побуждали к поступкам — смелым, дерзким, отчаянным. Пока думалось только отрывочно, фрагментарно: всё вместе в картинку не собиралось, нужные мысли не находились, сколько бы она их ни искала. Правда, она не слишком торопилась.

Со временем, понемногу, Коссович стал «доверять» ей — оставлять одну. В конце концов, он вынужден был выйти на работу, необходимо было кормить семью. И ей приходилось подолгу оставаться одной. Правда, он и тогда ее контролировал — звонил каждые два часа. А мог нагрянуть среди дня на обед, зажав под мышкой пакет с фастфудом.

Пользуясь свободой, Катя принялась разнообразить свое существование. Нет-нет, она вовсе не утратила интереса к жизни: то, что зовется скукой, тоской, одиночеством, ее, как ни странно, совсем не тяготило — она отдыхала, когда оставалась одна.

Это только в самом начале, выпроводив Коссовича, она ложилась на диван и часами глядела в потолок. Изучала на белом полотне вмятину, оставшуюся от малярных работ, желтоватое пятно после какой-то протечки, трещин, отлетавших от него по касательной, свисающую с потолка нитку пыли. Она начинала раскачиваться, эта нитка, если приоткрыть форточку. И тогда Катя глаз с нее не сводила, словно та была не досадным упущением хозяев дома, а рыбкой с золотистым плавником в потолочном аквариуме.

Теперь же Катя норовила с утра, вслед за Коссовичем, выскользнуть из дома, сесть в любой понравившийся автобус — все равно — и ехать по неведомому маршруту до конечной, и там долго гулять по каким-то окраинам, где панельные дома в конце концов заканчивались и начинались перелесок или промзона, и уж только потом, достигнув *края земли*, повернуть обратно: на табличке какого-нибудь дома прочитать название улицы и вызвать такси.

Могла зайти в районную библиотеку и там долго, почти целый день, листать журналы по ландшафтному дизайну. Могла часами сидеть в кафе и пить кофе, уставившись в книжку и лишь иногда переворачивая страницы. Могла сходить на бесплатное пробное занятие по кройке и шитью, познакомиться с мастерицей (и тут же забыть ее имя-отчество), посмотреть на машинки, на девушек и женщин, пришедших сюда вместе с нею, чтобы научиться шить, поулыбаться им в ответ.

И это было хорошо. Никто не лез к ней с вопросами, никто не знал, кто она и почему тут. Никому не было до нее никакого дела.

В своей квартире она появлялась чаще уже вечером, предварительно насидевшись с Коссовичем в машине у подъезда, выжидая момента, когда никого из соседей не будет в радиусе пятидесяти метров. Тогда она быстро выскакивала из машины с зажатым в пальцах ключом, не смея хлопнуть дверцей (а может, инстинктивно оставляя ее незакрытой, чтобы проще было впрыгнуть обратно — если что), опрометью кидалась на свой второй этаж и почти врывается в квартиру, замирая от ужаса, потому что ясно слышала, как на площадке третьего этажа кто-то распахнул дверь, захлопнул ее, прошелся по площадке и уже шагнул на лестницу... Дома она сразу же проходила в кухню, садилась за стол, ей придвигали тарелку, и она ела, делая вид, что не замечает

Алексей Малашенко

Тяжело в ученье, нелегко в бою

Арабистами не рождаются

На подлете к базе ВВС Арабской Республики Египет, неподалеку от городка Бильбейс, у египетского лейтенанта на Су-7 что-то пошло не так. Полет был боевой. Сажу я в наушниках возле руководителя полетами подполковника Геннадия Владимировича Коноплева и слушаю, на что летун жалуется. И ничегошеньки на его родном арабском не понимаю. И как уразуметь, когда за спиной четыре курса Института восточных языков при МГУ им. М.В.Ломоносова, а знаний по авиационным терминам — ноль.

Подполковник проговаривает какие-то цифры, а я как правильно эти цифры произнести — забыл.

— Не знаю, не понимаю, — бормочу.

Коноплев, мужик спокойный и доброжелательный, смотрит на меня.

— Понимаешь. Все понимаешь, — говорит он и добавляет, — ты ж комсомолец.

И пока тот бедолага, кандидат в покойники, заходил на третий круг, цифры вспомнились. И стал я что-то переводить. Последние мои слова были «ихбат» (по-арабски «садись») и «е.т.м.» (это по-русски). Он сел, а Коноплев сказал:

— Вот. А твердил, что все забыл.

Случился этот позор летом 1972 года. Бильбейская база была одной из двух крупнейших — первая находилась в Жанаклисе, на севере страны. Наша — ближе к Суэцкому каналу и Синайскому полуострову, где чаще всего египетско-израильские столкновения и происходили. Раскройте карту. Там и сейчас неспокойно. Там продолжает джихад созданный в 1987 году ХАМАС (Исламское Движение Сопротивления). Хамасовцев во всем мире, кроме России, считают террористами, и в Москву они часто навешиваются поговорить насчет урегулирования арабо-израильского конфликта.

...Расстался я с Геннадием Владимировичем и отправился в отведенный мне на базе чуланчик, размышляя о собственном ничтожестве. Как же так — четыре года учил язык, сдавал зачеты, полгода протрудился переводягой в учебном центре в городе Мары, а как дошло до настоящего дела, облажался.

И зачем вообще связался я с этим языком? Как это все случилось?

Первый шаг по дороге к бильбейскому аэродрому

Но прежде нужно понять и согласиться с тем, что арабский, как и другой восточный язык, это — другая жизнь, чудо, соблазн, кошмар. Прикоснувшись к нему, оторваться невозможно. Услышав его, копясь в его закорючках, чувствуешь себя

Малашенко Алексей Всеволодович — российский востоковед, исламовед, политолог. Доктор исторических наук, профессор. Один из ведущих российских специалистов по проблемам ислама. Постоянный автор «ДН».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 8.

другим. Так ощущают себя китайцы, японцы, корейцы, те, кто заиклен на хинди, ну и арабы.

К арабам у меня симпатия с детства. В 1956 году мы — папа, мама и я — переехали с Новослободской улицы, из коммуналки в другую коммуналку, на Третьей Тверской-Ямской.

В новой восемнадцатиметровой комнате было просторно. Стояли пианино, диван, папин секретер, столик, на нем — белое пластмассовое радио с одной-единственной первой программой. Вот с 1956-го и начал слушать радио, по которому передавали новости со всего мира. В октябре означенного года с утра до вечера вещали про Ближний Восток. Я тогда узнал три новых понятия — арабы, Суэцкий канал и израильская агрессия (что израильтяне — это всего-навсего евреи, не догадывался).

Много говорили про Гамаль Абдель Насера. Телевизора у нас не было, и в лицо я его не знал. Но имя запомнил. В году этак 60-м увидел Насера по недавно купленному черно-белому «Знамени»: добрый такой, улыбочивый. В 1972 году в Каире я приехал к его усыпальнице — высокой арке, в проходе которой стояла его гробница. Приставленные к ней часовые меня поначалу не заметили и гонялись вокруг святого места, покаявая друг друга пиками. Увидев одинокого посетителя, они немедленно доскакали до своих постов и вытянулись в струнку. Один из них неожиданно меня приветствовал. «Мархаба» (привет), — пробормотал он. «Мархабатеин», — ответил ему я и подумал: порезвились бы так стражи мавзолея Ленина...

Бежало время. Карту мира я выучил наизусть, и Ближний Восток сохранялся на ней каким-то личным кусочком. Я уже сообразил, что израильтяне и евреи не одно и то же. Евреи — свои — каждый день в гости ходят, а израильтяне чужие, плохие. Вот арабы — все хорошие, однозначно.

До арабского языка было еще далеко. Его призрак стал появляться тогда, когда лет в 12—14 надо было хоть отдаленно, но задумываться над вопросом «кем быть». Подростком потянуло в мир искусства — отец и мать были артистами: папа тогда трудился в Театре Маяковского, а мама в Центральном Детском, а еще была ведущей сверхпопулярной в те времена радиопередачи «С добрым утром».

Однажды пригласили меня сниматься в кино, на главную роль (в фильме «Рыжик»). Мама не пустила — до сих пор не знаю почему. Что оставалось? Сидеть, уткнувшись в карту. Тут еще попала в руки открытка «Вид города Каира» — красивые машинки, дома высокие, темно-голубая река Нил. Шел от той картинки запах волшебный. Опять уткнулся я в карту мира, ее ближневосточный кусочек. А там в 1967 году — «шестидневная война». То, что любимые арабы продули ее за несколько суток, было обидно. Непонятно. Особенно если верить советской пропаганде, твердившей, что они становятся все сильнее и сражаются за правое дело. Зато как интересно!

Короче говоря, заявил я дома, что буду учить арабский язык и отправлюсь на Ближний Восток. Так был сделан первый шаг по дороге к бильбейскому аэродрому.

Чудо, соблазн, кошмар

...В Московский Государственный институт международных отношений (МГИМО) меня не допустили, потому что не хватило комсомольского стажа. Для поступления туда в 1968 году требовалось пребывать во Всесоюзном Ленинском Коммунистическом Союзе Молодежи не менее двух лет, а я накопил только год. Все, что Господь ни делает, все к лучшему. В том году арабского отделения в МГИМО не было. В Институте восточных языков МГУ — было. И долгий комсомольский стаж не требовался. ИВЯ тоже считался престижным, хотя не до такой степени. В ИВЯ на арабское отделение я и поступил.

1-го сентября пришел на первое в жизни занятие по арабскому языку. Первая арабская группа состояла из восьми человек, среди которых была лишь одна худенькая и напуганная девушка по имени Аврора. В комнатку, где сидели, вошел темноволосый мужчина в очках, а с ним красивая женщина с настороженным лицом. Мужчина

представился доцентом Грачьей Михайловичем Габучаном, а его спутницу звали Людвиг Иванова.

Пробежавшись взглядом по нашим физиономиям, Габучан обратился к своей спутнице:

— Людвиг Иванна, вам не кажется, что опять набрали идиотов, посмотрите на них (Грачья говорил в нос с армянским прононсом).

Такого не может быть, — не верили мне знакомые, когда я рассказывал про первый урок в университете. Я и сам стал подумывать, мол, это все мне померещилось. Решил проверить. Два моих однокурсника Олег Гушин и Виталик Раснищын слово в слово повторили слова Грачьи.

И стали мы учить арабский язык. Громом обрушился он на нас, оглушив своими «нелепостями»:

- писать надо справа налево;
- у каждой буквы по четыре написания — в начале слова, в конце слова, в середине его и отдельно;
- десять пород глаголов (что такое порода, не скажу — все равно не поймете);
- двойственное число;
- про падежи и говорить нечего, их хоть и не так много, как в русском, но все равно путаются в голове.

От той нашей группы из восьми человек на белом свете осталось только трое. Не все ребята пали в сражениях за свободу арабов. Просто так случилось. Арабистика — дело нервное.

Была еще одна, вторая арабская группа. В ней, между прочим, учился будущий посол России в Тунисе Серёжа Николаев. Группа отличалась от нашей, первой, — половину ее составляли девушки, и кроме того, там, помимо арабского, проходили французский. В первой группе учили английскому. При этом в первой нас, франкофонов, выпускников французских спецшкол, было большинство. Когда в аудиторию впорхнула моложавая «англичанка» и поприветствовала нас: «Хэллоу, бойз», мы, не сговариваясь, хором ответили: «Бонжур, мадам».

У меня английский не заладился с самого начала. Я и теперь-то, после 20 лет, проведенных в Московском центре Карнеги, прожив почти три года в Штатах, в нем барахтаюсь. В арабской переводческой карьере английский мне пригодился только однажды. Дело было в алжирском городе Батне в Военной школе боевого оружия (L'École Militaire des armes de combat), главном военном училище Алжира. Ее начальником был уроженец Батны, будущий президент Алжира (1994—1999) Аль-Амин Зеруаль. Вся военная техника была советского производства, советники — советские майоры, подполковники и полковники. Так вот, поступило в батнинское училище некоторое количество новейшей техники. К железу прилагалось его техническое описание. Открыли — а там все по-английски. Кто ж в Батне его прочтет? Тут-то я по дурости и брякнул, что, кроме арабского, учил еще английский.

Короче, подвели меня к одному ящику, достали бумажки на английском. Посмотрел я на то, что там написано, закурил и перевел надпись, гласившую «Destinated to Iraq». Много лет спустя, коллега-арабист, работавший в Ираке, услышав эту байку, прокомментировал: «Слушай, старик, а мы тогда “шилки” эти (техника ПВО) ждали-ждали».

Вернемся в ИВЯ. Первое домашнее задание было написать четыре страницы палочек справа налево. Я хмыкнул, а потом чертил их три или четыре часа, нажив кровавые мозоли на пальцах. Не верите — попробуйте сами.

И началось.

Арабский был изнурительным трудом, каторгой, бежать с которой почему-то не хотелось. Магия. На четвертом курсе, освоившись с арабским, я по ночам переписывал Коран, подпольно вывезенный из Египта между нестиранными рубашками. Мусульманином не стал, но в исламоведение незаметно погрузился.

Когда-то я написал «Мой ислам», легкомысленную, но честную книжку, про которую знаменитый мусульманский авторитет молвил: «Это его ислам». И был прав. Сейчас я пишу, о *моем* арабском языке, о моем Ближнем Востоке и, простите, опять немного о *моем* исламе.

Во втором семестре первого курса был диктант. После него в класс вошел Грачъя, бросил на стол странички с диктантом и принялся нас обличать. Самый умный из группы, Митя Прокофьев, сделал всего восемь ошибок и получил три с минусом. Дмитрий действительно был одарен способностями к языкам (он потом выучил еще и иврит). Самый глупый сделал сорок восемь ошибок. Да, подумалось мне, прав был Грачъя, когда сказал, что набрали идиотов. Главным идиотом оказался я.

Нас заставляли учить наизусть небольшие арабские тексты, некоторые из них запомнились навсегда. Как-то раз в Бильбейсе арабский капитан, послушав мой перевод какого-то авиационного регламента, с раздражением спросил: «Ты вообще правильно говорить умеешь?», и от обиды я продекламировал ему один из выученных на первом курсе текстов. Капитан обалдел, а потом промолвил: «Ты арабский знаешь, но учи термины».

На втором курсе мы переписывали тексты, написанные нашими предшественниками. Выяснилось, что лучше всех эти тексты писал и знал наизусть некий Витенька Посувалюк — так ласково называла его наша преподавательница арабского Людмила Григорьевна Ковалёва и ежесекундно ставила нам его в пример. Витеньку Посувалюка мы ненавидели дружно, всей группой.

Напрасно. Виктор стал выдающимся дипломатом, служил послом в Ираке, а затем стал заместителем министра иностранных дел РФ. Он слишком рано ушел из жизни, тем самым нанеся ущерб российской внешней политике. При сумасшествии, которое называется «арабской весной», после нее, Виктор наверняка добился бы большего, чем нынешняя российская политика.

Возможно, я неправ, но, похоже, нынешняя ближневосточная дипломатия, с точки зрения профессионализма, уступает прежней. Она слишком несамостоятельна, зависима от президентской администрации, является не более чем исполнительницей ее указаний. Нет фигур, сравнимых с Евгением Максимовичем Примаковым или с тем же «Витенькой» Посувалюком.

Упомяну в связи с Примаковым одну не лестную для меня историю. В бытность его директором Института Востоковедения АН СССР он принимал какого-то арабского деятеля. В этот момент я проходил по второму этажу мимо его кабинета. Какой-то негодяй-начальник велел: помоги, мол, там ему с арабским языком. И толкнул в кабинет. Когда я запереводил, ЕМ посмотрел на меня не то чтобы с брезгливостью, но с явным сожалением. Потом он и его гость продолжили разговор на чистом арабском языке. Легким мановением руки директор отпустил меня на все четыре. Примаков, вопреки тому, что о нем некоторые судачат, арабский знал очень хорошо.

Нас учили разные преподаватели, учили разным языковым аспектам. Самыми непонятными были занятия с Алкаином Альбертовичем Санчесом. Он толковал нам арабскую грамматику. Не имея ни малейшего призвания к лингвистике, я слушал его лекции, как эхо в сосновом бору. Красиво, но непонятно. Поэтому и разговариваю по-арабски с минимумом грамматических изысков.

Не могу не вспомнить добрым словом Элеонору Порфирьевну Бобылёву, пытавшуюся учить нас синхронному переводу. Быть синхронистом — артистический дар. Сделать синхронистом абы кого невозможно. Эленора Бобылёва это понимала и раздражалась. И все-таки какие-то первичные истины синхрона она в нас вдолбила.

Однажды Эленора Порфирьевна устроила дерзкий эксперимент: рассадила нас в наушниках по кабинкам и сказала, что включает на магнитофоне отрывок из Тургенева, который мы должны хоть как-то перевести на арабский. Далее планировалось публичное прослушивание получившегося перевода.

Так вот, сижу я в кабине, потею от ужаса, а из наушников: «По серому небу тяжело ползли длинные тучи; темно-бурый кустарник крутился на ветре и жалобно шумел...» Пытаюсь «войти» в литературу, со страху забываю даже знакомые слова и... матерюсь, матерюсь — я ж здесь один, никто не слышит. Выпустила нас Элеонора Порфирьевна из кабинок, дала послушать, чего мы там напереводили, а потом сказала: если хотите послушать Малашенко, то пусть девушки выйдут.

Помимо нас, грешных, Бобылёва работала с разной публикой. Например, ставила арабское произношение хору, кажется, Приволжского военного округа, которому предстояло на гастролях в Египте исполнять песню «Родина моя» (что по-арабски — «биляди»). В быстром произношении первая «и» редуцируется. Представьте припев песни в исполнении сотни здоровых русских мужиков в военной форме.

И еще одно имя — Харлампий Карпович Баранов. Он у нас не преподавал. Мы его никогда в жизни не видели. Я о нем только читал в сделанной Институтом востоковедения книжке «Слово об учителях». Харлампий Карпович был нашим «злым гением». Он создал главное орудие пыток — арабско-русский словарь.

Словарь был нашей путеводной звездой, иконой. Без него понять и перевести что-либо с арабского языка было невозможно. Словарь был толст и огромен. У каждого порядочного арабиста он сохранился надорванным, измятым, даже изжеванным. На четвертом курсе у меня от него отвалилась обложка.

Много лет спустя мне подарили новый. И у меня оказалось целых два барановских словаря. Встал вопрос — зачем нужен старый? Выбросить рука не поднялась. До сих пор стоит на полке, без обложки.

Кроме арабского, нас учили истории. И хорошо учили. Древней арабской — Левон Исидорович Надирадзе, который через слово говорил «вообще так». Однажды он произнес главную кораническую мысль: «ля илля илля ля, Мухаммад, *вообще так*, расул Алла» (нет бога, кроме Бога, а Мухаммад посланник Аллаха).

Девятнадцатый век читал Николай Алексеевич Иванов, двадцатый — Наталья Сергеевна Луцкая и Роберт Григорьевич Ланда. Интересно было у всех. Они не только учили, но еще и привязывали к арабскому миру. Слушать их было все равно как читать интересную книгу — а что там дальше?

Лекции Ланды были интересны, умны и очень объективны, что в советские времена давалось непросто. С одной стороны, ничего, скажем, «диссидентского», с другой — огромное количество фактов, характеристик и некий подтекст: мол, вот какие были дела и какие люди. Из лекций Ланды становилось ясно, что все не так однозначно, и «мы» не всегда правы, и «они» не такие уж плохие и агрессивные. Его занятия были именинами сердца.

Перед экзаменами по арабскому языку всегда было страшно. На первом курсе экзамен шел несколько дней не то по семи не то девяти аспектам. Было чувство, будто продираешься сквозь чащобу и не знаешь, где в какую яму попадешь и какой сук свалится тебе на голову. Пересдача казалась кошмаром. Два раза восходить на лобное место... Кому-то пришлось проделывать это даже трижды. Остальные экзамены тоже не выглядели прогулкой по райскому саду, но на них можно было как-то выкрутиться. На арабском — никогда.

Впрочем, экзаменаторы не всегда были вампирами. Однажды великий Габучан во время экзамена вышел в коридор, повел вокруг очами и вдруг обратился к дрожавшему студенту Серёже Жилкину.

— Что, Жилкин, — спросил он, — боишься Грачью Михайловича?

— Боюсь, — тихо отвечал Серёжа.

— Ну, тогда пойдем выпьем коньяку, чтобы не боялся.

Габучан повел его в распложенный неподалеку от ИВЯ, на углу улицы Горького и Манежной площади, ресторан «Националь», где они выпили по хрустальной рюмке. Вернулись обратно, и Жилкин сдал арабский, если память не изменяет, на четверку.

У востоковедов, в особенности у арабистов, есть чувство корпоративности. Тем более, если они закончили один институт. Говорят, что сейчас это чувство размывается. Но у былых поколений оно сохранилось. Помочь своему — это у нас в крови.

Не помню, чтобы кто-нибудь из наших плохо отозвался об ИВЯ. Те учителя, которых мы поначалу боялись, теперь вспоминаются самой доброй памятью. Все мы разбежались кто куда. Но на тридцатилетний юбилей института очень многие из нас выбрались. Праздник проходил на Ленгорах. Большой зал, президиум, шум. Называют ректора, при котором мы учились, завкафедрой арабской филологии профессора Сан Саныча Ковалёва. Все встают. Не договариваясь, каждый сам по себе. Овация. Не видел, были ли слезы на глазах у Ковалёва. У моего соседа они появились.

Но это потом. А пока мы, уча арабский язык, начинаем задумываться, что дальше. Наступил третий курс, а вместе с ним разговоры о студенческой практике, которая мыслилась не иначе как поездка за границу. Это сейчас все катаются, как хотят и куда хотят — были бы бабки. В наши времена пересечение госграницы было событием огромного масштаба. Для этого требовалась непонятная для современной молодежи «выездная виза».

Настал мой час. Пришла заявка (так, кажется, это называлось) на отправку на практику за рубеж, и получена с четырьмя — партийной, комсомольской, профсоюзной и административной подписями — положительная характеристика.

Как это было в Египте

Реактивный Ил-62 не походил на восемнадцатого «Ильюху», выглядел мощнее и торжественнее. Волнующий рев четырех расположенных в конце фюзеляжа движков, и... можно откинуться на спинку самолетного кресла.

В 1972 году была демократия: в самолетах курили. Люблю критиковать советскую действительность. Но прежний Аэрофлот вспоминаю с ностальгией. И кормили вкусно. Лучше, чем в американской «Панам» и французской Эр Франс, даже поили.

До Каира долетели незаметно. Сели. Трап, жара, бронемашины, мешки с песком. Сто метров пешком до здания аэропорта. Стеклопакетные двери. Возле них два человека со средним выражением лица: «Кто по линии Десятого управления?»

Я по линии этого управления. Сразу — в сторону. Ясно, мы на неформальной территории Советского Союза, рыпаться не надо — все будет правильно. Ведут... нет, не ведут — провожают до автобуса.

Первое, что я увидел на арабской чужбине, была птичка угод — по-арабски «худхудун», второе слово, выученное на уроках арабского языка. (Первое было «бэбун» — дверь.) Остроклювый худхудун ошеломил не меньше, чем увиденные впоследствии Лувр, Рейхстаг, Трафальгурская площадь, мавзолей Мао Цзедун, Нью-Йорк после 11 сентября. С замиранием сердца постояв возле равнодушного к приезжому из Москвы удода, проследовал в автобус.

Автобус тронулся, и я попал не просто в дорогу для советского человека за границу, но в тот самый арабский мир с его арабским языком, который в муках изучал.

У разных арабистов самое первое восприятие арабского мира — различно. У тех, кто в юности попал туда с дипломатами-родителями или, например, на долгую учебу, оно иное, чем у тех, кто его «выстрадал». Одно дело, когда тебя привезли. Совсем другое — когда ты попадаешь туда один-одинешенек, беззащитный, без Грачьи Михайловича и не знаешь, что от тебя потребуется завтрашним утром. Один на один с арабским миром и его языком.

Арабский окружил и подавил меня с самого первого момента. Одно дело смотреть напечатанные на папиросной бумаге учебные тексты, другое — упереться взглядом хоть в магазинную вывеску. Отдельные буквы еще понятны, но слова...

Автобус катил нас по каирским унылым городским окраинам, а надежда — вдрут повезут через центр — истаяла. Привезли в спальный район «Мадинат Наср», где и

обитали советские советники. Этих мадинат-насов (еще их звали «наسر-сити») было несколько штук, меня подвезли к шестому, самому отдаленному.

Вселили в 10-этажный дом с 10 (или 12) подъездами. На каждую круглую лестничную клетку приходилось 8 квартир. Я попал в 10-й подъезд на восьмой этаж. Там жили только наши.

Мне досталась комната в двухкомнатной квартире с каменными полами (на востоке полы везде каменные), где проживал майор из Череповца, с которым мы сдружились за считанные полчаса. Я привез водку, а у соседа в огромной банке была присланная из дому замечательная, с легким сахарным оттенком сельдь.

Стало душевно. На какое-то время я даже забыл, где я и зачем сюда притащился. Восточная экзотика отступила в тень.

На всякий случай подошел к окну, взглянул на Каир и расстроился. Расстилавшийся перед взором кусок египетской столицы был скучен, как первые Черёмушки. Слева — дома из еще не снятой «Иронии судьбы», прямо — одно-двухэтажные белые домики за глухими заборами. Справа — желто-рыжие холмы.

Меланхолия упрочилась по мере знакомства с жилищными условиями. В душе по потолку и стенам скакали жизнерадостные тараканы. Еще один таракан меланхолично устроился на моей подушке.

Стоило из-за этого годами зубрить арабскую грамматику.

Настроение улучшилось утром, когда на рассвете запел, призывая на молитву правоверных, муэдзин. Этот звук заполнял все пространство, возносился к небу и, отражаясь от него, разбегался за горизонт. Сказать, что он завораживал — ничего не сказать. Азан заполнил душу (это я как исламовед говорю). Подобное волшебное звучание я слышал потом только единожды — зимним утром в Казани, в Старо-Татарской слободе.

Тем же утром за мной приехал микробас и отвез в «Риас», где наше командование руководило нашим военным присутствием в Египте. Формально никаких советских войск в стране пирамид не было. Однако кое-что на глаза попадалось. Это вроде как сегодня Частная Военная Компания (ЧВК) «Вагнер», которой нигде нет — ни в Сирии, ни в Ливии, ни в иных африканских царствах-государствах. В советские времена ни о каких ЧВК и речи быть не могло. Зато в 1970-х был анекдот: что самое сложное для советских летчиков во Вьетнаме? — во время полета одной рукой держать раскосыми глаза, дабы походить на вьетнамцев. Впервые этот анекдот появился еще в 1950-е, когда наши летчики *не участвовали* в корейской войне.

Короче, заезжаем в ворота, а навстречу — строй, славянская рота в местной форме. Шагают в ногу. Раздалась команда — «Стой, направо!» Понятно без перевода.

Не то чтобы я слишком удивился присутствию в Каире Красной Армии. Но вот увидеть это воочию было необычно. ...Первым вопросом, который был задан мне начальником переводчиков всего Египта полковником Пеговым, был: в какой организации состоишь — в профсоюзной или спортивной? Вопроса я не понял. Состоял ли я членом «профсоюза студентов», не знал, а что касается спортивной организации, то промямлил, что спортом не занимаюсь, хотя играл в шахматы за институтскую команду.

Переводчиков начальник внимательно посмотрел на меня, в его глазах промелькнуло медицинское любопытство. Пегов переспросил в упор — ты в партии или комсомолец? Так я узнал один из главных не подлежащих разглашению военно-политических секретов СССР: в несоциалистическом зарубежье КПСС и ВЛКСМ переходили на нелегальное положение (ну, вроде как большевики-подпольщики в годы царизма или «молодая гвардия» при немецкой оккупации). «Спортсмен», — сознался я.

Мне сообщили, к какой группе я приписан, выдали 20 египетских фунтов и отправили домой, сказав, что скоро за мной придут и увезут на место работы. Ждать пришлось долго.

И вот почему.

В разгар конфликта

Судьбе было угодно, чтобы я появился в Египте в разгар конфликта между тогдашним египетским президентом Анваром Садатом и советским руководством. Тесных отношений, как и при Гамале Абдель Насере, тогда не было. Москва оказывала военную помощь, но достичь равенства с Израилем по боеспособности и умению воевать египтяне и остальные арабы не могли. Израильцы владели оружием с большей ловкостью. Да и не надо забывать: они сражались за собственное существование как государства. Им некуда было отступать.

Арабам неудачи казались временными, случайными, они были уверены, что обречены на успех. 100 миллионов арабов против 4 миллионов каких-то евреев, пробравшихся на арабские земли. И главный союзник арабов СССР обязан давать им *наступательное* оружие, его советники призваны учить арабов наступательному бою.

Русские же, возмущался Садат в 1972 году по телевизору, учат нас бою оборонительному. Их советники — «оборонщики», а оружие — «оборонительное». В Москве такой постановке вопроса удивились. Отличить оборонительное оружие от наступательного непросто. Вот штурмовик — это оружие наступательное. А стреляющие по нему зенитка или ракета это что — наступательное или оборонительное?

Короче, Садат заявлял, что Советский Союз сдерживает арабов в их справедливой борьбе. Не дает им развернуться. Надо признать, в Кремле и в самом деле не ведали, как разрулить арабо-израильский конфликт. Проигрывают арабы — плохо, потому как это подрывает авторитет СССР, побеждают арабы — кто знает, что им придет в голову. От лозунга «сбросить Израиль в море» никто не отказывался. Затяжной конфликт был на руку Москве, поскольку гарантировал ей присутствие на Ближнем Востоке.

Садату же была нужна победа, которая укрепила бы его власть, сделала его безальтернативным, единственно возможным лидером и в Египте.

Еще одна причина ухудшения отношений между Каиром и Москвой заключалась в том, что Анвар Садат никогда не приветствовал односторонней ориентации Насера на Советский Союз. Выражаясь современным политическим языком, он предпочитал многовекторность. И одним из векторов был Запад, прежде всего Соединенные Штаты. Он искал сближения с американцами, а одним из лучших путей к этому становилось ухудшение отношений с СССР.

Пройдет семь лет, и в 1979 году в Кэмп-Дэвиде Садат подпишет знаменитый мирный договор с Израилем, с тем самым государством, которое в знаменитой книжке Насера «Философия революции» было названо «не более чем детищем империализма». За кэмп-дэвидское соглашение Садат будет заклеен арабскими националистами и исламистами, а в 1981 году убит на трибуне во время военного парада членом организации Братьев-мусульман лейтенантом Исламбули.

В следующем, 1973 году произошла очередная, как обычно короткая арабо-израильская война, которую в Каире объявили победной, хотя полноценной победой она не была — египтяне вернули захваченный израильцами в 1967 году Синайский полуостров, но затем их войска были остановлены, так что это столкновение закончилось «вничью».

Итак, в 1972-м Садат принял решение отправить домой советских советников. Наши возмутились, но настаивать не стали, а решили «пошутить». Тут обнаружился нюанс: советские военнослужащие в Египте делились на две категории: советники (хабиры) и специалисты (мусташары). Первые пребывали непосредственно в войсках, вторые, технари, обслуживали технику и обучали египтян с ней обращаться.

Говоря о высылке, египетский президент имел в виду только хабиры, а в Москве приняли решение вернуть домой всю (почти всю) военную миссию, включая мусташаров. Таким образом, после отъезда советских друзей египтяне были вынуждены самостоятельно осваивать новую военную технику и обслуживать старую. Это не всегда получалось. Рассказывали, что на базе ВВС под Асуаном, где стояли

Александр Мелихов

Советский патриотизм и голос крови

Репрессии, обрушенные Сталиным на еврейские головы в конце сороковых, часто объясняют его «зоологическим» антисемитизмом. То есть животным, хотя животные не различают людей по национальному признаку. Животные ненавидят то, в чем видят опасность, и этим ничем не отличаются от людей. Сталин жил политической борьбой и ненавидел то, что могло помешать ему в этой борьбе. А евреи могли сделаться помехой еще в полуподпольной фазе его политической карьеры.

Еще в феврале 1913-го Ленин писал Горькому: «У нас один чудесный грузин засел и пишет для “Просвещения” большую статью, собрав *все* австрийские и пр. материалы». У нас — это в Кракове. А журнал «Просвещение» легально выходил в Петербурге с декабря 1911-го по июль 1914-го. В художественной тетрадке принимал участие Горький, да и сам Ленин тоже там печатался. Вот в этом-то «Просвещении» Сталин и опубликовал свою программную статью «Марксизм и национальный вопрос».

По словам Сталина, Ленин ее даже редактировал, и когда оппоненты попытались представить статью дискуссионной, Ленин взорвался: «Статья *очень хороша*. Вопрос боевой, и мы не сдадим ни на иоту принципиальной позиции против бундовской сволочи». О Бунде можно прочесть в Малой советской энциклопедии 1933 года, что это был Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, постоянно дезорганизовывавший деятельность социал-демократической партии, пытаясь перестроить ее «на федеративных началах по национальному признаку»; «после Октября значительная часть Бунда перешла в контрреволюционный лагерь» или сделалась «ярким социал-фашистским отрядом 2 Интернационала».

Но в мирном довоенном Кракове Сталин пока что изучал, каким образом австрийские социал-демократы Отто Бауэр (ассимилированный еврей) и Рудольф Шпрингер (псевдоним Карла Реннера, избранного в 1945 году президентом Австрии) намереваются обустроить совместную жизнь наций при социализме в их многонациональной империи. *К. Сталин* (так была подписана статья) засел за эти отдаленные прожекты только потому, что его собственная социал-демократическая партия в «период контрреволюции» проявила склонность «межеваться» по национальному признаку. Национализм грозил пролетарскому единству. И чем же должна была с ним бороться социал-демократия? «Противопоставить национализму испытанное оружие интернационализма, единство и нераздельность классовой борьбы». Сталин возмущался нелепым поведением социал- вроде бы демократического Бунда, который «стал выставлять на первый план свои особые, чисто националистические

Мелихов Александр Мотелевич — прозаик, литературный критик, публицист, зам. главного редактора журнала «Нева». Родился в 1947 году в г. Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Лауреат многих литературных премий. Живет в Санкт-Петербурге.

цели: дело дошло до того, что “празднование субботы” и “признание жаргона” объявил он боевым пунктом своей избирательной программы». (Жаргоном Сталин именовал идиш, но тогда это название не было снижающим, сам Шолом-Алейхем называл свой язык жаргоном.)

За Бундом поднял бунт Кавказ... В итоге, срочно потребовалась «дружная и неустанная работа последовательных социал-демократов против националистического тумана, откуда бы он ни шел».

И вот явился четкий постулат: «Нация складывается только в результате длительных и регулярных общений, в результате совместной жизни из поколения в поколение. А длительная совместная жизнь невозможна без общей территории».

Следовательно евреи не нация. А нация — «нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры».

Чудесный грузин уже тогда вынес еврейскому народу свой приговор: «Можно представить людей с общим “национальным характером” и все-таки нельзя сказать, что они составляют одну нацию, если они экономически разобщены, живут на разных территориях, говорят на разных языках и т.д. Таковы, например, русские, галицийские, американские, грузинские и горские *евреи*, не составляющие, по нашему мнению, единой нации».

А если им кажется, что составляющие?

Креститься надо, если кажется.

А вот они упорно не крестились — держались за свое ни на чем не основанное психологическое единство. Которое, однако, Шпрингер и Бауэр, считали главным признаком нации. Нация по Шпрингеру — «культурная общность группы современных людей, не связанная с “землей”». Бауэр отказывается и от языка: «Евреи вовсе не имеют общего языка и составляют, тем не менее, нацию». Нация для Бауэра — «вся совокупность людей, связанных в общность характера на почве общности судьбы».

Один из виднейших духовных вождей дореволюционного российского еврейства, историк и общественный деятель Семён Маркович Дубнов тоже придерживался концепции духовного, или культурно-исторического, национализма, полагая нацию культурно-исторической категорией, а потому считал, что еврейскому народу не нужна особая территория — с него довольно культурной автономии. Но на подобную мелюзгу Сталин не тратил полемических зарядов (хотя впоследствии охотно расходовал заряды пороховые). Он метил в лидера австромарксизма и социал-предателя Отто Бауэра: «Бауэр говорит о евреях как о нации, хотя и “вовсе не имеют они общего языка”, но о какой “общности судьбы” и национальной связности может быть речь, например, у грузинских, дагестанских, русских и американских евреев, совершенно оторванных друг от друга, живущих на разных территориях и говорящих на разных языках?»

Упомянутые евреи, без сомнения, живут общей экономической и политической жизнью с грузинами, дагестанцами, русскими и американцами, в общей с ними культурной атмосфере; это не может не накладывать на их национальный характер своей печати; если что и осталось у них общего, так это религия, общее происхождение и некоторые остатки национального характера. Все это несомненно. Но как можно серьезно говорить, что окостенелые религиозные обряды и выветривающиеся психологические остатки влияют на “судьбу” упомянутых евреев сильнее, чем окружающая их живая социально-экономическая и культурная среда? А ведь только при таком предположении можно говорить об евреях вообще как об единой нации.

Чем же отличается тогда нация Бауэра от мистического и самодовлеющего “национального” духа спиритуалистов?»

Тем, отвечу я, что в человеческой фантазии нет ничего мистического, но она, тем не менее, есть то главное, что отличает человека от животного. Человека от животного отличает способность относиться к плодам своей коллективной фантазии гораздо более серьезно, чем к реальным предметам: самые высокие и прекрасные

творческие подвиги человек совершил и совершает, служа воображаемому целям. Более четверти века назад я написал в «Исповеди еврея», что нацию создает общий запас воодушевляющего вранья, и смягчить эту формулу я могу лишь стилистически: нацию создает общая мифология, воображающая нацию по образу и подобию семьи — именно из семейного опыта национальная пропаганда черпает свои базовые образы: царь-батюшка, родина-мать, отец нации, братские народы, убивают наших братьев, бесчестят наших сестер...

Но для Сталина «психологические остатки» суть что-то заведомо презренное: «Что это, например, за еврейская нация, состоящая из грузинских, дагестанских, русских, американских и прочих евреев, члены которой не понимают друг друга (говорят на разных языках), живут в разных частях земного шара, никогда друг друга не увидят, никогда не выступят совместно ни в мирное, ни в военное время?!»

Нет, не для таких бумажных «наций» составляет социал-демократия свою национальную программу. Она может считаться только с действительными нациями, действующими и двигающимися, и потому заставляющими считаться с собой».

Заставляющими считаться с собой... В этом суть сталинской политики: считаться только с тем, что *заставляет* считаться с собой. Это относится и к русским, и к американцам, и к троцкистам, и к кулакам, и к католикам: сколько у римского папы дивизий? Евреи просто стоят в том же ряду: сумеют они заставить считаться с собой — значит они нация, не сумеют — пусть не рыпаются.

Но если не религия и прочие «психологические остатки», то что тогда, по Сталину, создает нацию? Как что — буржуазия, «буржуазия — главное действующее лицо», а «основной вопрос для молодой буржуазии — рынок. Сбыть свои товары и выйти победителем в конкуренции с буржуазией иной национальности — такова ее цель». А почему бы, наоборот, не сомкнуться с буржуазией иной национальности ради победы над своей? Нет даже и вопроса.

«Стесненная со всех сторон буржуазия угнетенной нации естественно приходит в движение. Она апеллирует к “родным низам” и начинает кричать об “отечестве”, выдавая собственное дело за дело общенародное», — как видите, слово «отечество» можно писать только в кавычках, ибо классовые интересы важнее национальных, «общенародных», которых, впрочем, даже и не существует: они только средства для реализации классовых. Остается лишь поражаться глупости низов, из века в век согласных сражаться за чужое дело. Ибо народ как целостная структура для дела Ленина-Сталина не представляет никакой ценности, тогда как для большинства нормальных людей принадлежность к чему-то великому и потенциально бессмертному служит экзистенциальной защитой от ощущения своей мизерности и бренности.

И вот итог: «Национальная борьба в условиях *подымающегося* капитализма является борьбой буржуазных классов между собой». Не конфликт грез, самый непримиримый из конфликтов, а рациональный конфликт интересов — вот что такое, по Сталину, национальная борьба. Можно бесконечно спорить, ненавидел ли Сталин евреев без всякой причины (чего никогда не бывает) или ненавидел их лишь тогда и в той степени, когда начинал видеть в них опасность (как бывает почти всегда, вернее, просто всегда). Но если вдуматься в его принципы, выраженные в предельно открытой и респектабельной форме, то из них отчетливо явствует, что ни на какую особую еврейскую жизнь российские евреи рассчитывать не могут. А если они попытаются заставить считаться с собой, он им покажет, кто с кем должен считаться.

Право же наций на самоопределение вовсе не абсолютное право, а лишь техническое средство ослабить межнациональную вражду, чтобы максимально усилить классовую, чтобы объединить низы всего мира против верхов. Право наций на самоопределение, повторяет Сталин, социал-демократия будет поддерживать только тогда, когда это помогает создать «единую интернациональную армию».

¹ А во время Второй мировой войны отправит делегацию Еврейского антифашистского комитета собирать деньги у американских евреев. И соберет! — А.М.

А все попытки выделить хотя бы даже и внутри этой армии отдельный национальный полк будут караться — в тихом предвоенном Кракове «К.Сталин», скорее всего, и сам еще не догадывался, с какой чудовищной и даже избыточной жестокостью.

Но какой же способ сосуществования в одном государстве различных наций (причем не только тех, кто заставлял с собой считаться) предлагал Отто Бауэр? К.Сталин излагает программу своих противников достаточно объективно: их цель — культурно-национальная автономия. «Это значит, во-первых, что автономия дается, скажем, не Чехии или Польше, населенным, главным образом, чехами и поляками, — а вообще чехам и полякам, независимо от территории, все равно — какую бы местность Австрии они ни населяли.

Потому-то автономия эта называется *национальной*, а не территориальной.

Это значит, во-вторых, что рассеянные в разных углах Австрии чехи, поляки, немцы и т.д., взятые персонально, как отдельные лица, организуются в целостные нации и, как таковые, входят в состав австрийского государства. Австрия будет представлять в таком случае не союз автономных областей, а союз автономных национальностей, конституированных независимо от территории.

Это значит, в-третьих, что общенациональные учреждения, должностные лица будут созданы в этих целях для поляков, чехов и т.д., будут ведать не “политическими” вопросами, а только лишь “культурными”. Специфически политические вопросы сосредоточатся в общеавстрийском парламенте (рейхсрате).

Поэтому автономия эта называется еще *культурной*, культурно-национальной.

Иными словами, по Шпрингеру и Бауэру, национальность не связывается ни с какой фиксированной территорией, нации становятся союзами отдельных личностей — при том, что никакому из этих союзов не предоставлено исключительного господства ни в какой области.

Очень интересная идея — нации-союзы... То есть, если какая-то нация, как, скажем, те же евреи или цыгане, всюду составляет национальное меньшинство, она все равно обретает равные права с другими, «компактными» нациями.

А каким образом, обретают правовой статус нации-союзы? На основе свободных заявлений совершеннолетних граждан: каждый сам решает, кем зваться — немцем, чехом, поляком или евреем, — и после этого обретает право выбирать и быть избранным в *национальный совет*, который будет заниматься национальными школами, национальной литературой, наукой, искусством, устройством академий, музеев, театров и проч. И этой возможности его не сможет лишить (демократическим путем!) никакое национальное большинство, поскольку даже самой маленькой нации будет законодательно причитаться определенная доля общегосударственных доходов (например, пропорциональная вносимым национальной корпорацией налогам). Нация как добровольный союз может исчезнуть лишь в том случае, когда не станет охотников себя к ней причислять.

Трудно даже сразу и оценить, какие перспективы это открывает. Зато сразу ясно, какую перспективу это закрывает — именно ту, о которой мечтали Ленин и Сталин. Им хотелось, чтобы их армия, «единая интернациональная», была монолитной, а армия, им противостоящая, раздробленной. «Не ясно ли, что национально-культурная автономия противоречит всему ходу классовой борьбы?» — гневно вопрошает К.Сталин.

И даже всему ходу развития человечества! Цитирую К.Сталина далее: «Национальные перегородки не укрепляются, а разрушаются и падают. Маркс еще в сороковых годах говорил, что “национальная обособленность и противоположность интересов различных народов уже теперь все более и более исчезают”, что “господство пролетариата еще более ускорит их исчезновение”». История обеих мировых войн, распад Советского Союза, кажется, не слишком это подтверждают. Противостояние позитивистского Запада воинствующему исламу тоже, скорее, снова раскрывает нам историю человечества как историю зарождения, борьбы и распада коллективных

Нет, весь народ, все государство действует как единый могучий организм. Нигде нет ни тени национализма или космополитизма, над всем царит могучий не этнический, но общегосударственный патриотизм.

Илья Эренбург.

Скептик, интеллигент, модернист, западник, проживший половину сознательной жизни в Париже, в 1926 году среди Тирренского моря писал в частном письме: пусть я плыву на Запад, пусть я не могу жить без Парижа, пусть моя кровь иного нагрева (или крепости), но я русский. Не удивительно, что после Двадцать второго июня голос этого еврея звучит, как колокол на башне вечевой: «Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово “немец” для нас самое страшное проклятье. Отныне слово “немец” разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал».

«Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей», — призывал Симонов, но Эренбург в интимной лирике «для себя» говорит не о человеке — о стране:

Будь ты проклята, страна разбоя,
Чтоб погасло солнце над тобою,
Чтоб с твоих полей ушли колосья,
Чтобы крот и тот тебя забросил.
Чтоб сгорела ты и чтоб ослепла,
Чтоб ты ползала на куче пепла...

«Если дорог тебе твой дом», — таков был зачин знаменитого симоновского стихотворения, но Эренбург постоянно напоминал солдатам, что сражаются они не только за свой дом, но и за все человечество, за всю европейскую культуру: «Защищая родное село — Русский брод, Успенку или Тарасовку, воины Красной Армии одновременно защищают "мыслящий тростник", гений Пушкина, Шекспира, Гёте, Гюго, Сервантеса, Данте, пламя Прометея, путь Галилея и Коперника, Ньютона и Дарвина, многообразие, глубину, полноту человека». И этот «космополитизм», возвышавший читателя в его собственных глазах, сделал Эренбурга любимцем и фронта, и тыла, в том числе и немецкого: в одной партизанской бригаде был издан специальный приказ, запрещавший пускать на самокрутки газеты со статьями Эренбурга.

Этот выход за национальные границы вовсе не отказ от патриотизма, но, напротив, его возвышение, указание на его всемирно-историческую миссию. И это опять-таки патриотизм не этнический, а общегосударственный, включающий человека в некое единое «мы».

Василий Гроссман.

Он родился в год Первой русской революции в просвещенной еврейской семье, сочувствующей «освободительному» движению, и все полагающиеся революционные мытарства, возможно, принял как неизбежность. После окончания Московского университета сделал неплохую карьеру как инженер-химик, и в его первой революционной эпопее «Степан Кольчугин», написанной в манере горьковской «Матери», видно хорошее знание донбасского производственного быта.

Как специальный корреспондент «Красной звезды» Гроссман всего повидал на многих фронтах, а во время битвы за Сталинград оставался в городе все страшные дни и ночи, в том числе и на передовой. Виктор Некрасов впоследствии вспоминал, с каким уважением бойцы относились к Гроссману, державшемуся подчеркнуто по-штатски, хотя многие военные корреспонденты любили изображать прожженных окопных волков.

Гроссман лишь после освобождения Бердичева узнал, что его мать еще в сентябре 1941-го была расстреляна нацистами, и тема Холокоста осталась его личной болью до конца его дней. После войны вместе с Эренбургом они составили «Чёрную

книгу» свидетельств и документов о Холокосте, но в Советском Союзе книгу издать отказались, опасаясь, что трагедия евреев заслонит общенародную трагедию.

Однако общенародной трагедии Гроссман посвятил грандиозную дилогию «За правое дело» и «Жизнь и судьба», над которой он работал с 1946 по 1959 год. Даже и первая книга, наспигованная всеми положенными славословиями Сталину и партии, проходила в печать с трудом и подвергалась опаснейшим наездам, но во второй, «оттепельной», Гроссман дал себе волю. Там были и лагеря, и доносчики-комиссары, и Холокост — но и богатырский образ народа, великое Мы, сломившее самую могучую военную машину в мировой истории. Роман мог выйти в журнале «Знамя» года на два раньше солженицынского «Ивана Денисовича» и наверняка сделался бы еще большей мировой сенсацией, но — рукопись романа оказалась в КГБ. Была ли это инициатива главреда Вадима Кожевникова, или к этому привел общий порядок контроля, но роман был арестован вместе со всеми разысканными экземплярами.

Гроссман требовал «вернуть свободу» главному труду его жизни, но верховный советский идеолог Суслов четко разъяснил, что роман может быть напечатан в СССР не раньше, чем через 200—300 лет.

Гроссман ненадолго пережил эту катастрофу, а вот роман, сохранный и вывезенный за границу, многими признается «Войной и миром» 20-го века. Роман действительно могучий, но все-таки он довольно-таки ученически воспроизводит схему «Войны и мира» вплоть до того, что, наткнувшись на неодолимое сопротивление русских при Бородине, Наполеон утрачивает свой сверхчеловеческий апломб и понимает, что беззащитен перед случайным ядром или отрядом противника — и впервые со страхом смотрит на тела убитых, — а Гитлер, ощутив свое бессилие в Сталинграде, начинает понимать, что ему может выстрелить в спину каждый часовой — и со страхом вспоминает технические устройства для уничтожения людей, которые только что обсуждал с олимпийским спокойствием. Подобно Толстому, Гроссман усматривает источник воинской доблести в «роевом» начале — в чувстве «мы»...

«В миг боевого перелома иногда происходит изумительное изменение, когда наступающий и, кажется, достигший своей цели солдат растерянно оглядывается и перестает видеть тех, с кем дружно вместе начинал движение к цели, а противник, который все время был для него единичным, слабым, глупым, становится множественным и потому непреодолимым. В этот ясный для тех, кто переживает его, миг боевого перелома, таинственный и необъяснимый для тех, кто извне пытается предугадать и понять его, происходит душевное изменение в восприятии: лихое, умное "мы" обращается в робкое, хрупкое "я", а неудачливый противник, который воспринимался как единичный предмет охоты, превращается в ужасное и грозное, слитное "они".

Раньше все события боя воспринимались наступающим и успешно преодолевающим сопротивление по отдельности: разрыв снаряда... пулеметная очередь... вот он, этот, за укрытием стреляет, сейчас он побежит, он не может не побежать, так как он один, по отдельности от той своей отдельной пушки, от того своего отдельного пулемета, от того, соседнего ему, стреляющего тоже по отдельности солдата, а я — это мы, я — это вся громадная, идущая в атаку пехота, я — это поддерживающая меня артиллерия, я — это поддерживающие меня танки, я — это ракета, освещающая наше общее боевое дело. И вдруг — я остаюсь один, а все, что было раздельно и потому слабо, сливается в ужасное единство вражеского ружейного, пулеметного, артиллерийского огня...

А во тьме ночи подвергшиеся внезапному удару и поначалу чувствовавшие себя слабыми и отдельными начинают расчленять единство обрушившегося на них неприятеля и ощущать собственное единство, в котором и есть сила победы».

Сила духа в единстве, в ощущении единого «мы», и у Гроссмана нет ни намек на выделение в этом «мы» каких-то этнических частей.

Даниил Гранин.

Сегодня всем желающим известно, что он еврей, хотя Гранин всегда воспринимался писателем русской национальности, тем более что еврейской темы я у него припомнить не могу. А в последние его годы я довольно регулярно с ним общался, и он никогда не говорил о личных трудностях — только о проблемах страны. И национального аспекта в них, похоже, просто не замечал.

И лучшую свою книгу «Мой лейтенант» он опубликовал уже в 2012-м, когда можно было писать любую правду о чем хочешь. Однако самую острую правду он написал о своем альтер эго.

Лирического героя «Моего лейтенанта» мы видим то наивным петушком, рвущимся на фронт в тайной уверенности, что это будет недолгое победоносное приключение, то насмерть перепуганным ребенком, способным разрыдаться от ласкового слова, а после годами сгорающим от стыда за смрад своей трусости: «Война воняет мочой». Зато именно поэтому мы и проникаемся к нему трепетным сочувствием и абсолютным доверием — и понимаем, что именно так и происходит преобразование перепуганного мальчишки в солдата.

Понимающего, что убить его не так-то просто, если он сумеет не потерять голову от ужаса. Начинающего догадываться, что он и сам способен внушать страх противнику. И постепенно проникающегося к врагу смертельной ненавистью, страстно желая уже не просто изгнать его из пределов своего государства, но именно убить.

Гроссман, напоминая, усматривал источник воинской доблести в «роевом» начале — в чувстве «мы»: когда «мы» начинает распадаться на отдельные «я», распадается и воинский дух армии. Однако Гранин рисует картину полного разгрома и физического распада армии на группы измотанных одиночек, не только не имеющих никакой материальной связи с армейским целым, но допускающих даже, что и не только Ленинград, который они обороняли, но и — почему бы и нет? — может быть, и Москва сдана немцам. И, скитаясь по лесам, одна из таких группок встречает на пути обгорелого майора — «лиловые щеки в пузырях», — который не собирается заканчивать войну, как бы далеко ни забрались немцы: абсолютно без всякого приказа сверху он собирает осколки разбитой армии и намеревается разрушать тыловые немецкие коммуникации, а там будем поглядеть. Один из ополченцев высказывает штатское одобрение «разумному предложению», и майор в ответ гаркает: «Это не предложение, это приказ!»

Эту сценку можно рассматривать как комментарий к той свободомыслящей доктрине, что война была выиграна благодаря заградотрядам. В «Моём лейтенанте» есть и еще одна сильная сцена, иллюстрирующая, насколько немисливо запугать вооруженную массу, неделями ведущую безнадежную борьбу со смертью. Уже в Пушкине милиционер в белоснежной гимнастерке требует от офицеров подтянуть бойцов, каждый из которых выбрался из окружения лишь благодаря персональной удаче, и даже грозит: а то-де мы сами наведем порядок, — и через час герой книги уже видит его убитым вместе с напарником.

И все-таки главный вектор остервенения направлен против немцев. А также против тех, кто попытается стать на пути у этой ярости, увы, не всегда благородной.

Бойцы собираются держать оборону в ослепительном царскосельском дворце, и возмущенный старичок-смотритель пытается их вытурить, указывая на царапины на великолепном паркете, а младший лейтенант Осадчий срывает с плеча автомат и дает очередь по зеркалам, по лепнине, по зеркальному паркету: вот чего все это стоит, когда речь идет о жизни и смерти государства. И это делает не товарищ Сталин или товарищ Жданов, не дикарь и не варвар — еще вчера этот же самый младший лейтенант в войлочных тапочках почтительно разглядывал бы эти же самые зеркала и эту же самую лепнину, почтительно внимая рассказам экскурсовода, а сегодня он запросто готов убить этого экскурсовода за один только намек, что не все должно быть подчинено нуждам войны.

Это к вопросу о том, нельзя ли было выиграть войну с меньшими потерями для

культурных ценностей. Правители, уличенные подобными Осадчими в такой бережливости, быстро утратили бы популярность, а то и предстали прямыми изменниками: «Для кого бережете?!» Боюсь, и в этом случае, как и во многих других, власть всего лишь выполняла волю наиболее пассионарной части народа — той части, на которую она и опиралась.

Однако и Гранин в этом пассионарном ядре не выделяет никаких национальных фрагментов — народ снова предстает единым целым.

У Ремарка картина иная.

Герой-рассказчик («На Западном фронте без перемен») особо отмечает храбрость новобранцев, «этих несчастных шенят, которые, несмотря ни на что, все же ходят в атаку и вступают в схватку с противником». У фронтовиков имеется и национальная гордость: «Национальная гордость серошинельника заключается в том, что он находится здесь. Но этим она и исчерпывается, обо всем остальном он судит сугубо практически, со своей узко личной точки зрения».

Зато в «Возвращении» с приближением мира впервые возникает ротный командир обер-лейтенант Хеель, который ходит в дозор с тростью. И когда еврей Вайль приносит газету с сообщением о том, что в Берлине революция, Хеель комкает газету и кричит: «Врешь, негодяй!» А потом, оставшись в одиночестве, сидит в солдатской куртке без погон и плачет.

И наконец, прощаясь с однополчанами, поджав губы, говорит Вайлю:

«— Ну вот, Вайль, вы и дождались своего времечка.

— Что ж, оно не будет таким кровавым, — спокойно отвечает Макс.

— И таким героическим, — возражает Хеель.

— Это не все в жизни, — говорит Вайль.

— Но самое прекрасное, — отвечает Хеель. — А что ж тогда прекрасно?

Вайль с минуту молчит. Затем говорит:

— То, что сегодня, может быть, звучит дико: добро и любовь. В этом тоже есть свой героизм, господин обер-лейтенант.

— Нет, — быстро отвечает Хеель, словно он уже не раз об этом думал, и лоб его страдальчески морщится. — Нет, здесь одно только мученичество, а это совсем другое. Героизм начинается там, где рассудок пасует: когда жизнь ставишь ни во что. Героизм строится на безрассудстве, опьянении, риске — запомните это».

Казалось бы, еврей-пацифист и выражает общее мнение, но нет. Когда изголодавшаяся, оборванная немецкая армия уже после капитуляции сталкивается с сытыми, великолепно экипированными американцами, в проигравших пробуждаются совсем не пацифистские чувства.

«Мы не знаем, что с нами происходит, но если бы сейчас кто-нибудь обронил хотя бы одно резкое слово, оно — хотели бы мы того или нет, — рвануло бы нас с места, мы бросились бы вперед и жестоко, не переводя дыхания, безумно, с отчаянием в душе, бились бы... Вопреки всему, бились бы...»

Советские же писатели еврейского происхождения не несут никакого пацифистского начала.

Напрашивается итог: тогдашнее поколение советских евреев было практически лишено националистического начала, противопоставляющего себя общенародному. И когда биробиджанский писатель Борис Миллер в газете «Биробиджанер штерн» («Биробиджанская звезда») опубликовал список евреев — Героев Советского Союза, в этом проявлении национальной гордости было не больше сепаратизма, чем в гордости солдат своим полком отчужденности от дивизии и армии. В «Волоколамском шоссе» Александра Бека главный герой — казах, он спокойно говорит, что гордился рядовым-соплеменником, умеющим разбирать пулемет: мы, казахи, тоже становимся народом механиков, — и никакого национализма в этом никто не усмотрел.

Миллер, однако, получил десять лет за еврейский национализм. И это было хуже, чем преступление, это была ошибка. В итоге преследования за вымышленную вину на много лет породили реальное взаимное недоверие и отчуждение.

Преследования за которое его только усиливало.

Этот порочный круг разорвало лишь падение советской власти.

От биробиджанских, например, поэтов и прозаиков она требовала романов и поэм в таком примерно духе: наконец-то сбылась тысячелетняя мечта еврейского народа о собственном государстве — хотя в дружной семье советских народов повсюду живется одинаково уютно. Наконец-то мы можем писать на своем родном языке — хотя он, конечно, ничем не лучше великого и могучего русского языка. Мы должны собрать все силы — хотя без поддержки великого и могучего русского народа у нас все равно ничего не получится. Наши парни сражаются, как истинные наследники Самсона, — хотя, впрочем, Илья Муромец ничем ему не уступит. Горе наших матерей, потерявших своих сынов, безмерно — хотя и не более безмерно, чем горе русских, украинских, белорусских, узбекских, татарских и всех прочих матерей.

При всей смехотворности этого канона, поэтов и писателей карали именно за отступления от него.

Картина Биробиджана во время войны в основном сходна с привычной картиной советского тыла: энтузиазм, непосильный труд, пожертвования, недоедание на грани голодной смерти... При том, что в те годы громче всего зазвучали призывы именно к русскому народу (Сталин осуществил открытую мобилизацию русских грез, справедливо полагая, что в случае победы, которая без их поддержки весьма сомнительна, он сумеет удержать их в узде), еврейский народ сделался одним из тех немногих народов, чье имя было использовано в пропаганде, предназначенной для западного слуха (внутри же страны постарались убрать хотя бы с глаз долой эту красную тряпку, которую и без того постоянно совала населению под нос гитлеровская пропаганда: вы воюете из-за евреев, вы защищаете евреев... Лучше уж и впрямь массовые убийства евреев обтекаемо называть убийствами «мирных советских граждан»). В мае 1942 года в Москве состоялся митинг, послуживший прелюдией к образованию Еврейского антифашистского комитета (ЕАК). Известные в Союзе и даже в мире советские евреи обратились к евреям всей планеты с призывом приобрести для Красной армии 1000 танков и 500 самолетов: «От тех, кто сражается сегодня с гитлеровскими ордами, зависит будущее всего мира и, в частности, еврейского народа». В ответ еврейскому антифашистскому комитету в город Куйбышев была направлена из ЕАО телеграмма о сборе денег в количестве 7 700 500 рублей, в том числе на строительство танков и самолетов 489 700 рублей, и теплых вещей для фронта на сумму 65 523 рубля.

В 1944 году на фоне общего горя и нужды руководство области решило отметить десятилетие со дня образования ЕАО и в благодарственном обращении к Сталину среди стандартной патетики была использована пара специфически еврейских образов: Самсон, пожертвовавший собой ради уничтожения врага, «львиное сердце Маккавеев»... И это через несколько лет припомнили первому секретарю обкома Александру Наумовичу Бахмутскому в качестве проявления еврейского буржуазного национализма.

Об уничтожении Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) написано довольно; поэтому здесь достаточно сказать: разумеется, никакой шпионской деятельностью «еврейские антифашисты» не занимались, но что касается несанкционированных грез, то таки да, грезили. Вступались за отдельных евреев, вообразили себя представителями несуществующего народа... Который, возможно, раздражал Сталина еще и тем, что отказывался вести себя в соответствии с его теориями — труп отказывался разлагаться. Кстати, и новая власть, после смерти отца народов отменившая расстрельный приговор, все-таки посмертно попеняла саковцам за их бестактное поведение — за попытки «некоторых из осужденных» присваивать себе несвойственные им функции: вмешиваться в решение вопросов о трудоустройстве лиц

еврейской национальности, возбуждать ходатайства об освобождении заключенных евреев из лагерей. И вообще — мелькали.

ЕАК и в самом деле находился в фокусе международного внимания. Но кому в столицах было дело до того, какими демагогическими зверствами отозвалась эта кампания в Еврейской автономной области! Мощным катализатором послужило и осложнение отношений с государством Израиль, примерно в это же время воссозданным на канонической Земле обетованной и отказавшимся служить советским плацдармом на Ближнем Востоке. Энтузиазм, с которым советские евреи восприняли его героическое рождение, не мог не усилить в советских вождях не лишённое оснований чувство: сколько еврея ни корми...

Все, что связывалось со словами «еврейский», «еврейское», в Еврейской автономной области теперь именовалось буржуазным национализмом, — как, впрочем, и во всей стране. Однако особенностью ЕАО было, пожалуй, обвинение А.Н.Бахмутского в попытках создать в Еврейской автономной области еврейскую элиту. Что он, судя по всему, действительно пытался сделать. Тогда как подбор кадров по национальному признаку и в самом деле был нарушением не только сталинской Конституции, но и вообще либеральных принципов, запрещающих принимать во внимание национальность граждан. Ну, а что без такого подбора, без создания дополнительных стимулов евреям оставаться и становиться именно евреями, а не просто «советскими людьми», область и не могла сделаться еврейской — так и не нужно. Довольствуйтесь названием. А потому и экспозиции по еврейской истории из краеведческого музея должны быть изъяты.

После показательных изобличений и тщетных покаяний («Я кроме семилетки и ФЗУ, по существу, никакого образования не имею») в театре имени Кагановича А.Н.Бахмутский был исключен из партии. Напрасно он, глотая слезы, повторял: «Мне всего тридцать восемь лет. Поверьте мне. Только не исключайте».

Первые слова нового, присланного из Москвы первого секретаря обкома П.В.Симонова, обращенные к ожидавшему его шоферу (кстати, еврею), были таковы: «Ну так что, расхулиганились здесь еврейчики? Ну ничего, мы порядок наведем».

Новое истребление начавшей было формироваться государственной, хозяйственной и культурной элиты Еврейской автономной области, в отличие от тридцать седьмого года, планомерно осуществлялось теперь уже по национальному признаку. Во всех обвинениях ключевые слова были одни и те же: «буржуазный», «националистический», «сионистский», «космополитический», «проамериканский». В центре города жгли тысячи книг на еврейском языке — это были книги репрессированных писателей, а заодно и просто «устаревшие по содержанию» и «излишние». А сами биробиджанские писатели...

Борис Миллер (Бер Срульевич Мейлер), 1913 года рождения, образование высшее, писатель, был обвинен в том, что в его патриотической пьесе «Он из Биробиджана» земляки, встретившись на фронте, поднимают тост сначала за Биробиджан и только потом за товарища Сталина, — в итоге десять лет, правда, с правом переписки. И то сказать: в газете «Биробиджанер штерн» Б.Миллер опубликовал список евреев — Героев Советского Союза. Не могу устоять перед соблазном процитировать протокол его допроса.

Следователь: Почему список озаглавлен «Честь и слава еврейскому народу»? Вам разве неизвестно, что это определение — «еврейский народ» противоречит национальной политике партии и правительства?

Миллер: Термин этот, хоть он и противоречит марксистско-ленинскому определению нации и народности, систематически употребляется в еврейской печати.

Противоречит, но употребляется...

Любовь Шамовна Вассерман, родившаяся в Польше, приехавшая в Красный Сион из просто Сиона, имела неосторожность сочинить стихотворение, в котором были такие строки:

Биробиджан — мой дом,
И песнь моя о нем.
Люблю свою страну — Биробиджан.

Следователь: Признаете, что оно националистическое?

Вассерман: Да, потому что в нем допущено такое националистическое выражение: «Люблю свою страну — Биробиджан».

Биробиджан не страна, а областной центр. Не забывайте!

В итоге те же десять лет, отштемпелеванные тем же 31-м мая 1950 года. А в 1952 году, в день Советской армии А.Н.Бахмутский был приговорен к расстрелу, замененному после его клятвенного письма Сталину двадцатипятилетним заключением. Бахмутский вышел на свободу в 1956 году за месяц до XX съезда сорокашестилетним, но уже безнадежно больным человеком. И век свой доживал в полной неизвестности.

Любопытно, кстати, что синагога, вызывавшая особый патриотический гнев («Для синагоги нашли помещение, а для ДОСААФа не можете!»), была закрыта уже после смерти Сталина, в ноябре 1953 года.

И вся эта вакханалия была запущена из-за фантома — несуществующего буржуазного еврейского национализма.

По крайней мере, у писателей и поэтов фронтового поколения его обнаружить не удастся. Разве что они были гораздо сильнее ранены Холокостом, чем остальное население СССР, но и в этом было не больше отчуждения от страны, чем в каждом, кто оплакивает гибель близких. Советская из советских Маргарита Алигер об этом и написала в 1945 году.

Разжигая печь и руки грея,
наскоро устраиваясь жить,
мать моя сказала: «Мы евреи.
Как ты смела это позабыть?»
<...>

Поколение взрослых на свободе
в молодом отечестве своём,
мы забыли о своём народе,
но фашисты помнили о нём...
<...>

Вот теперь я слышу голос крови,
смертный стон народа моего.
Всё слышней, всё ближе, всё суровой
истовый подземный зов его.
Голос крови. Тесно слита вместе
наша несмываемая кровь,
и одна у нас дорога мести,
и едины ярость и любовь...

Этот голос вовсе не зовет ее подальше от той земли, которая взрастила, стать большой и гордой помогла. Напротив, только с нею евреи могли идти по дороге мести.

Они были готовы и дальше идти вместе с нею и по дороге мести, и по дороге творчества.

Да, в общем-то, они и продолжали по ней идти, даже и чувствуя себя незаслуженно оскорбленными.

Но их дети мириться с этим уже не желали.

ЖИЗНЬ В ОН-ЛАЙН ВАКУУМЕ: ПИР КОНЧИЛСЯ, А ЧУМА ОСТАЛАСЬ

Литературные итоги 2020 года

В этом номере — размышления Евгения АБДУЛЛАЕВА, Дмитрия БАВИЛЬСКОГО, Катерины ГАЛГУТ, Марии ЗАКРУЧЕНКО, Сергея ЛЕБЕДЕНКО, Валерии ПУСТОВОЙ, Елены САФРОНОВОЙ

Традиции «ДН» подводить итоги минувшего литературного года — 15 лет. Пролистав три первые журнальные книжки, начиная с 2007 года, можно получить если не полное, то весьма объемное представление о наиболее интересных и обсуждаемых произведениях и авторах, о самых горячих полемиках и премиальных сюжетах, об опыте и насущных проблемах толстых журналов, книжных издательств, литературных сайтов и блогов — в перекрестье субъективных оценок и суждений писателей, критиков, блогеров из столичной и нестоличной России, «ближнего» и «дальнего» зарубежья.

Как всегда, мы предлагаем участникам заочного «круглого стола» три вопроса:

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?
2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?
3. Литература в обществе «удалёнки» и «социальной дистанции»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

Евгений Абдуллаев, поэт, прозаик, критик (г. Ташкент)

Год перечитывания

Главные события, как всегда, были не в тексте, а в контексте. Пандемия ударила в какую-то особенно болезненную точку. В солнечное сплетение. Цивилизация сложилась вдвое и не может отдышаться. Мир стал более хрупким, люди более нервными. Почитайте любую литературную дискуссию в Сети. «Кр-р-рови!»

То, что долго собиралось зашататься, радостно зашаталось.

Толстые журналы, однако, продолжают выходить. «Обыкновенное чудо», сказал бы Шварц.

Ближе к концу года упряднили Роспечать.

Говорить о тексте-событии воздержусь. Весь год просидел в Ташкенте, больше перечитывая старое, чем читая новое. «Старое», конечно, условно: трех-пяти-семилетней давности. Например, прекрасный сборник стихов Андрея Пермякова «Сплошная облачность», вышедший в 13-м году. Или другая книга, которую тоже держу поблизости, читая и перечитывая небольшими дозами: «Упражнение в бытии» Ольги Балла, год 16-й.

Вообще, все больше хочется говорить и писать о таких книгах, которые не с пылу с жару. Именно с такой — небольшой — временной дистанции проступает «событийность» текста, его важность. Даже думаю, когда устану от «Литературного барометра», удариться оземь и переформатироваться в рубрику «Букинист», где можно было бы неспешно поговорить о таких «неновых» книгах. А то только успеваем ловить и пролистывать-почитывать «свеженькое» — а рядом лежат десятки недопонятых, недопрочитанных книг.

Ускорение литературного процесса при общем замедлении литературы, замедлении ее стилистического, тематического и прочего обновления. Не скажу — тенденция именно этого года, просто в 2020-м все стало как-то особенно рельефно и четко. Пандемия подействовала на всё, как катализатор; то, что все десятилетия пребывало в игре оттенков, стало одноцветным, с преобладанием темного.

Все десятилетия шло вялотекущее сужение «офф-лайн» сегмента литературы: встреч, фестивалей, премиальных церемоний и прочая и прочая... Всех тех праздников, пиров духа и фуршетов плоти, которые те, кто понимал, что происходит с литературой, называли пиром во время чумы. И вот, собственно, всё; просьба освободить вагоны.

Пир кончился. А чума осталась.

В литературном «он-лайне» жизнь кипит, градус кипения даже повысился. Литературные вечера «он-лайн», литературные школы «он-лайн», литературные баталии «он-лайн». И хорошо, что так — без этого бы вообще все загнулось. Печально, повторяюсь, что главная причина здесь не пандемия; она лишь высветила то, что уже шло давно. И стремительный переход на выпуск крупнейшими издательствами электронных книг взамен печатных начался тоже до «короны». И, в целом, разбегание литературного сообщества по своим виртуальным норам. Всё только ускорилось и в этом ускорении даже не перешло, а проскочило точку невозврата, пронеслось мимо нее, обдав публику ледяным ветром.

Литература дематериализуется. Вся, вместе с книгами, авторами, их письменными столами, музами и лирами — переходит в «цифру». И ведать ею вместо Роспечати будет Минцифра.

Вместо «печати» — «цифра». Символично.

При этом сама литература — как-то замедлилась, двинулась вспять, а где-то даже совершила полный оборот, вернувшись к началу десятилетия.

Достаточно взглянуть на состав победителей самых крупных литературных премий. «Большая книга» — Иличевский, один из фаворитов нулевых, но в десятилетия фактически ничего не выпустивший. «Нацбест» — Елизаров, после «букероносного» «Библиотекаря» (2008) почти все десятилетия бывший в тени. «Московский счёт» — Гронас, тоже почти полтора десятилетия молчавший. «Поэзия» — Гуголев, не то чтобы молчавший, но публиковавшийся в десятилетия несопоставимо меньше с началом нулевых.

Ничего плохого, разумеется, в этом нет. За Гуголева — просто рад, да и за других тоже; просто отмечаю некое возвращение на круги своя. Впрочем, так оно, наверное, и должно быть; это только падение бывает прямолинейным, а литературное движение всегда извилисто, с зигзагами и кругами.

Перейду ко второму вопросу, который оставил на закуску. Про литературу «ближнего зарубежья» и кого удалось в ушедшем году прочесть.

В основном, казахов. С сентября веду — разумеется, «он-лайн» — семинар по поэзии в алмаатинской «Открытой литературной школе». Талантливые люди собрались. Двое уже публиковались в сентябрьской «Дружбе»: Аман Рахметов и Ирина Гумыркина. Это новая волна казахстанской литературы, новые поколения, но идущие от силлаботоники, очень интересно ее развивающие. Рахметов вообще ближе к, условно говоря, «воронежской школе» — хотя как школу они себя и не декларировали, да сегодня это и не нужно. Там у них, в Воронеже, случилось что-то интересное, сразу несколько молодых поэтов; может, дух Мандельштама постарался. Наиболее известен Василий Нацентов, но есть и Сергей Рыбкин (о его новой книге «Вдали от людей» как раз собираюсь писать в мартовском «дружбинском» поэтическом обзоре), и Аман Рахметов, который жил в Воронеже несколько лет... Но я отвлекся; возвращаюсь к именам казахстанским. Зоя Фалькова и Александр Иванков, это другая линия, более интеллектуальная, прозаически-нарративная. Наконец, Алдияр Бакаяков, он вообще ни в какую линию не вписывается, стихийный и очень интересный голос.

Из «своих», узбекистанских авторов — читал и переводил с узбекского Турсуна Али; очень интересный поэт и сам — переводчик (прежде всего, Хлебникова). Из здешних русскоязычных — Наталью Белоедову; пожалуй, единственное яркое, что появилось в русскоязычной литературе Узбекистана в десятые.

А в целом, как уже сказал, 2020-й был не столько годом чтения, сколько перечитывания. Так что — что пенять на попятное движение литпроцесса, если сам двигался вспять — и не без удовольствия? Хорошо, посмотрим, куда поплывем в 2021-м.

Дмитрий Бавильский, прозаик, литературовед, критик (г. Челябинск)

Безвозвратное деление

1. Не сразу, но, кстати, и не только мной, было замечено, что многие явления ковидной жизни, ранее существовавшие в неразрывном единстве, словно бы разделились на отдельные фракции — вот как составляющие в правильно устроенном коктейле. Общественное существование оказалось отделенным от приватного, искусство — от культуры, телевиденье — от новостей и информации. Нечто похожее происходит и в литературе, причем сразу же по всем фронтам, где беллетристика, как и массовое книгоиздание, все больше и больше отдаляется от «высокой литературы», переводные новинки от отечественных, а поэзия — от народа и общеупотребимого языка.

Безвозвратное это деление происходит и на автономных сценах. Вот, например, в критике, где младомодернисты, как я обозначаю плеяду эссеистов-смысловиков во главе с Ольгой Балла (первый лауреат премии «Неистовый Виссарион» в минувшем году выпустила том «Смысловых практик в книгах и текстах начала столетия» «Пойманный свет», а также сборники: поэтических текстов «Сквозной июль» и экзистенциальных записок «Дикоросль», — напоминающих, разумеется о тетрадах «Самосева» Филиппа Жакоте) и Александром Чанцевым (в 2020-м он закономерно получил премию Андрея Белого за том «Ижицы на сюртуке из снов», увесистого автопортрета современного интеллектуала в рецензиях и обзорах), существуют отдельно от обозревателей, сводящих рецензии к пересказу сюжета.

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?

Еще более осязаемое разделение происходит в области перевода, где новые варианты классических произведений требуют все большего ума, таланта и опыта, необходимого для того, чтобы учитывать не только особенности авторского синтаксиса и интонации, но также все предыдущие интерпретации и трактовки. И не только и не столько отечественные.

К примеру, «Путевой дневник» путешествия в Германию и в Италию Мишеля Монтеня вышел по-русски впервые, причем в двух разных переводах: «Лимбус пресс» издал вариант Леонида Ефимова, а «Красный пароход» — Натальи Мавлевич. А вот новые транскрипции статей и эссе Поля Валери пересобраны Марианной Таймановой в изящный сборник «Лимбус пресс», исправляющий поэтические вольности предыдущих переводчиков. Не менее важен и второй вариант перевода романа Луиджи Пиранделло «Записки кинооператора», девять лет назад запоротого произвольной редакцией издательства «Текст». В декабре «Лимбус пресс» представил аутентичную версию Владимира Лукьянчука, и культурная справедливость, наконец, восторжествовала.

Впрочем, как кажется, самым ожидаемым переводом этого года, по самым разным причинам, стал третий том эпопеи «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, отмеченный премией Андрея Белого. Его ведь Елена Баевская уже который год мужественно штурмует вслед Адриану Франковскому и Николаю Любимову. И не боится сравнений с выдающимися предшественниками.

Традиционного для русского слуха Свана она превращает в Сванна, а «У Германтов», выход которого в «Иностранке» выпал на нынешний год, переделывает в «Сторону Германтов», чем запускает цепочку необратимых следствий в восприятии классического текста, интонационно ориентированного отныне, по признанию Баевской, на раннюю прозу Пастернака. Однако выглядит это весьма современной и крайне актуальной прозой, словно бы сегодня написанной...

И это, конечно, выдающийся труд, приблизиться к которому из переводов актуальной литературы, могут разве что Инна Стреблова и Ольга Дробот, занятые русским вариантом шеститомного прозаического цикла Уве Карла Кнаусгора «Моя борьба».

В прошлом году «Синдбад» опубликовал первое «Прощание», теперь подоспела «Любовь», и если первую часть литературные обозреватели еще как-то вынужденно заметили, очень уж много шума книги эти до сих пор вызывают в Америке и в Европе, то вторая часть прошла у наших критиков полностью незамеченной — подлинно новаторской литературы у нас не любят и не прощают вообще никому.

Пока что «Моя борьба» движется по возрастающей, открывая современной литературе какие-то небывалые доселе возможности.

И потому что такого умного и честного автофикшна пока еще не было. И оттого, что, прежде чем устремляться вперед, Кнаусгор итожит достижения классического искусства (не только литературы, но также театра, живописи и, например, кино): помимо описания повседневной жизни, в которой, на первый взгляд нет ничего особенного, а на второй взгляд обнаруживаются залежи смыслов, «Прощание» и, тем более, «Любовь» набиты мета-рефлексией.

Так как все, что происходит в жизни рассказчика и рассказывается им в режиме реального переживания, чередующегося с экскурсами в прошлое, призвано иллюстрировать и утверждать творческий метод автора, предъявляя его со всех возможных сторон. Таким образом, «Мою борьбу» можно прочитывать как эксперимент по превращению сырого сырья «вещества жизни» в литературу высочайшего качества. В этом смысле Кнаусгор вполне тянет на звание «современного Пруста». Просто в его эпопею на один том меньше.

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

2. Действие «Коки», нового романа Михаила Гиголашвили, посвященного наркоманским мытарствам безвольного, но симпатичного персонажа, отчасти происходит в Европе (сначала в Голландии, почти на буквальном криминальном дне Амстердама, затем в немецкой психиатрической клинике), отчасти в только что образовавшейся России и соседних республиках, ставших независимыми государствами, — сначала в родном Тбилиси, затем в пятигорской тюрьме, куда Кока попадает из-за очередной авантюрной комбинации, вызванной поисками запретного кайфа...

В Амстердаме Кока, предоставленный самому себе, ежедневно швындался среди «преступного элемента», поражая изобретательностью и вынужденной эмпатией, раздутой до беспримерного человеколюбия, неожиданной смелостью и стойкостью, которой оборачивается его бесхребетность. В Тбилиси и, тем более, в Пятигорске все его наработки и знакомства обнуляются, и нужно начинать отстраивать систему потребления с нуля.

Таким нестандартным образом Гиголашвили противопоставляет родину и чужбину, говорящих на разных, в том числе и социальных, языках, исповедующих разные принципы человеческой свободы. В этом смысле Европа комфортнее, но равнодушнее, тогда как Россия оказывается душевной страной больших возможностей, где возможно, вообще-то, все.

Кстати, именно этим русский роман (причем не только современный) и отличается от западноевропейского, «пронизанного работой дисциплинарных институтов», как написала Эмма Либер в статье, сравнивающей «Холодный дом» Диккенса и «Братья Карамазовы» Достоевского в сборнике «Русский реализм XIX века» («НЛО», 2020), тоже вышедшем в самом конце года.

Гиголашвили, полжизни исследующий и преподающий творчество Достоевского в университете, повторяет в «Коке» некоторые открытия классика. Во-первых, демонстрируя принципиальную предвзятость уголовного расследования, которое заканчивается для Коки неожиданным освобождением. Во-вторых, детальными и весьма длительными описаниями тюремного быта, явно отсылающими к «Запискам из мёртвого дома». Общим у двух писателей оказывается и гуманистический пафос милости к падшим — употребляя, они ведь не вредят никому другому, кроме самих себя.

3. Логично предположить, что режим «удаленки» и «самоукорота» способен обратить вдумчивых людей к чтению: цифры продаж электронных и бумажных книг в других странах прямо на это указывают. У нас же рынок продажи текстов падает, особенно книжных (цифровые показывают небольшой рост), а если что и растет по-настоящему, как у взрослых, так это потребление видео-контента на стриминговых платформах (фильмы и сериалы): самая читающая страна в мире безвозвратно утратила первенство не только в освоении космоса, но и в чтении, которое вытесняется в России другими медиумами и источниками информации.

Да я и по себе наблюдаю, что чтение воспринимается теперь как необязательный и дополнительный способ проведения досуга, существующий по остаточному принципу. Теперь он работает лишь тогда, когда использованы все прочие возможности траты времени — от сериалов до соцсетей. Потому что читать — это же трудиться нужно!

Для большинства из нас удаленка так и не стала способом разворота к себе и возможностью наведения интеллектуального порядка. Ведь для этого нужен относительный душевный покой, ощущение перспектив (мы читаем, в основном, под потребности будущего) и хотя бы какой-нибудь намек на методологию. Тогда как многие из нас почти буквально погребены под избытками ненужной информации, которую невозможно ни осознанно освоить, ни, тем более, структурировать.

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?

Кстати, это ведь книги и умные журналы помогают структурировать внутреннее пространство лучше любых других видов культурного потребления, так как именно чтение позволяет человеку остаться один на один с собой и с «умным собеседником» на максимальное количество времени, однако кто теперь задумывается об этом всерьез? Информационный избыток подхватывает и подхлестывает наши самоощущения, постоянно увеличивая скорости личного времени до состояния непреходящего вихря. Остановить который не способна даже необходимость сидеть по домам.

В будущем, если, конечно, все останутся живы и забудут тревоги и массовые смерти жертв нынешней эпидемии, мы будем вспоминать это время как удивительный сбой инерции и привычных жизненных стандартов — то, что в литературоведении называется «актуализацией высказывания» и «вскрытием приема».

Пандемия covid-19 вынужденно подарила нам обилие личного времени, при правильном использовании способного образовать какое-то количество «внутренней свободы», необходимой для постоянного духовного и душевного самосохранения.

Для описания культурных практик этого високосного года я даже придумал особый жанр коронанарратива, несколько частей которого весьма оперативно вышли в «Новом мире» (№ 5, № 6, 2020). В них я достаточно подробно описываю смену формаций самоощущения и реакций на то, что происходило и происходит в общественном сознании сначала весной, затем летом и вплоть до конца года, поскольку новые главы коронанарратива готовятся к выходу в тематическом выпуске журнала «Комментарии», целиком посвященном культурным итогам года, полностью захваченного актуальной всемирной напастью.

Катерина Галгут, книжный блогер (г. Москва)

В попытках удержаться за реальность

1. Прошедший год хочется окрестить *новой реальностью* или даже некрасивой разьедающей слух *новой нормальностью*. И в этой связи симптоматичным кажется затянутый и оттого настолько долгожданный выход «Нормальных людей» Салли Руни — пожалуй, одной из главных переводных книг уходящего 2020-го. Естественный ход вещей нарушен, и нет ровным счетом ничего обычного как в героях романа, так и в той душной обстановке запертых квартир, в которой мы все оказались. Сегодня мы — люди в вакууме, поддерживающие связь с внешним миром путем он-лайн взаимодействия. Однако, оглядываясь на вышедшие в прошлом году книги, мы пока не можем обнаружить тревожные тенденции. Тем более, когда говорим о русскоязычной литературе, почти целиком построенной на протяженной во времени рефлексии, которую, кажется, невозможным высвободить здесь и сейчас.

До того, как все повально начали цитировать Бродского, ибо что может быть более актуально, чем «не выходить из комнаты, не совершать ошибку», в печать уже были сданы знаковые книги прошлого года. Они еще не успели впитать в себя запахи стерильности и антисептиков и оттого отражают ту реальность, в которой, кажется, мы уже никогда не будем жить. Однако хорошо заметен изменившийся ракурс. Еще год-два назад мы только и говорили, что о травмах XX века, а сегодня вместе с

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

Владиславом Городецким обсуждаем трансгуманизм, с Булатом Хановым — фестивали крафтового пива (хипстерская деталь, гармонично вписавшаяся в многослойный роман о зависимостях и предрассудках), а с Кириллом Рябовым — современных гуру, способных изменить нашу жизнь всего за сто пятьдесят тысяч рублей. Все еще утопая в ГУЛАГе и цепляясь за «Оттепель», литература понемногу пытается говорить об окружающем нас сегодня. Будет преувеличением сказать, что 2020-й год стал открытием направления «актуальный роман», но он стал достойным продолжателем зародившейся традиции.

Еще одна явная тенденция — повышение интереса к нон-фикшн литературе. Но если пару лет назад мы в большей степени обсуждали премию «Просветитель» и научпоп исторической и медицинской тематики, то сейчас все больше спорим о книгах-расследованиях. В 2019-ом говорили и «Форпосте» Ольги Алленовой и «Вторжении» Михаила Туровского, а под занавес 2020-го вышел «Криминальный Татарстан» Роберта Гараева, о котором нам пока только предстоит вести долгие дискуссии. Впрочем, все еще популярен более традиционный нон-фикшн. В ушедшем году для себя особо отметила «Историю смерти» Сергея Мохова — книгу о трансформации отношения людей к умиранию, от «Imitatio Christi» до зомби-апокалипсиса. Любопытно, что к танатосу также обращен и знаковый роман «Земля» Михаила Елизарова, о котором столько уже сказано, что лучше больше и не добавлять ничего, разве что только о пророческой силе хорошей литературы.

Можно было бы еще долго говорить о трендах, например, о *#MeToo* и проникнувшем во все сферы культуры феминизме, в том числе и в его самой экстремальной форме, или о развитии Young Adult в России, и о других течениях в современной литературе. В конце концов, через несколько десятилетий литературоведы решат, что же на самом деле определило 2020 год. Все, что я могу сказать сегодня: тенденций много, и интересно посмотреть, какие из них выживут в мире, переворачивающемся с ног на голову практически ежедневно.

Лично для меня в этой ненормальной ненормальности прошедшего года главным событием стало чтение «Собирателя рая» Евгения Чижова. Пускай это разговор совсем не о трендах, а о зыбкости памяти и ощущении безвременья, хочется кричать о том, что нет ничего более актуального, чем вечное. Так что просто помолчу о ностальгии, перманентной и непроходящей «тоске о рае».

2. Увы, не удалось. Был в планах сборник повестей Сухбата Афлатуни «Глиняные буквы, плывущие яблоки», но, к сожалению, не сошлось, отложила чтение уже на 2021-й.

3. Сегодня все сферы жизни пронизаны эсхатологическими настроениями. Литература не исключение. С началом введения карантина обострились разговоры о выживании книги в мире, все больше погружающемся в онлайн. Есть ли будущее у литературы? А у бумажной продукции? Помню страх, поглотивший меня в начале года: неужели придется все теперь читать в электронном формате? Сегодня новинки сначала выходят на Bookmate и «ЛитРес», а уж потом, если повезет, появляются на полках «физических» магазинов. Разрыв был и раньше, но не казался черной дырой безысходности. Издательство ЭКСМО пошло еще дальше и выдвинуло идею отправлять в печать только вещи, набравшие более одного миллиона упоминаний в СМИ. Для крошечного российского рынка это феноменально много, с нашими-то смешными тиражами три-пять тысяч экземпляров. Впрочем, год уже закончился, а книги все еще выходят. С опозданием, с вечно отсроченным стартом продаж, но главное, что выходят. Мне думается, что все же никакая социальная дистанция не остановит книгопечатную деятельность, которая будет жить, куда живы читатели.

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?

*Мария Закрученко, прозаик, литературный критик,
книжный блогер (г. Москва)*

«Все побежали писать про 2020 год»

Не буду делать вид, что в минувшем году следила за какими-то «трендами». У меня едва хватало времени на проблемы со своим здоровьем (не ковид), к сожалению, я не писала ничего, крупнее заметок в блог, и хотя со временем надеюсь восстановиться, сейчас не чувствую себя вправе давать какой-либо развёрнутый комментарий и дискутировать на тему современной литературы. Для этого в течение года нужно было её читать. В прошедшем году я прочла только одну крепкую книгу русской прозы — «Конец света, моя любовь» Аллы Горбуновой. Это единственный собственный голос в русскоязычной литературе 2020 года, который встречался лично мне, но, повторяюсь, по своим меркам я читала очень мало.

Могу повторить очевидную вещь — что вырос спрос на электронные и аудиокниги. Этого нельзя было не заметить, тем более, что я работаю в digital сервисе. В марте, когда Москву «закрыли» без объявления чрезвычайного положения, заставив людей делать вид, что всё в порядке, многие (кто не вынужден был искать работу) побежали на онлайн-ресурсы, чтобы отвлечься. Если вначале предпочтение отдавали нон-фикшену, то со временем интерес к нему значительно поугас, люди стали больше читать и слушать художественную литературу. Наверное, потому что художка не претендует на всеобщее знание о том, как правильно жить, чтобы тебя не убил вирус, или потому что в хорошей книге самой по себе содержится рецепт счастья, или головоломка, или приключение — каждому своё.

Что касается так называемой «удалёнки» и всего остального, то в данный момент это реальность, в которой мы живём, и не больше. Изменит ли это общественные отношения? Разумеется. Изменит ли это литературу? Вот уж нет, точно не сейчас. С самого начала пандемии по одним только почтовым рассылкам я наблюдаю, как писатели выполняют издательские заказы на книги «про эпидемии», «про врачей», «про изоляцию». От Евгения Водолазкина до Маши Трубной все пишут одно и то же, и у меня как у потенциального читателя скорее отбивают желание читать. С другой стороны, это настоящий феномен в русскоязычной литературе: до 2020 года интересы писателей во временном периоде лежали где-то между Великой Отечественной войной и девяностыми, в 2020 году все побежали писать про 2020 год. Пока это не может не вызывать раздражения, но вдруг эта «прививка ковидом», простите за чёрный юмор, научит писателей смотреть в глаза сегодняшнему дню?

Сергей Лебеденко, журналист, книжный блогер (г. Москва)

«Главный способ продвигать книги — экранизация»

1. Книгами года для меня точно стали:

— «Пиранези» Сюзанны Кларк — долгожданное возвращение главной современной британской сказочницы, детектив, фэнтези на грани weird и борхесовская

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

загадка под одной обложкой. Идеальное чтение во времена, когда дом для большей части населения планеты и впрямь стал целым миром, как для Пиранези в романе, и нам всем не мешает припомнить, как мы в этой ситуации оказались и что делать дальше — а главное, что стоит предпринять, чтобы выбор не делали за нас.

— «Необитаемая Земля» Дэвида Уоллеса-Уэллса — крайне мало обсуждавшийся в российском литературном пространстве, но очень важный нон-фикшн о том, как человечество планомерно и методично убивает планету. Сейчас мы вышли на такой уровень повышения глобальной температуры, который грозит уже в этом столетии все большим количеством катастроф и миграцией, сравнимой с Великим переселением народов. Уэллс делает предположения о том, что можно было бы в этой ситуации предпринять, и размышляет, почему глобальное потепление так и не было осмыслено массовой культурой.

— «Бредовая работа» Дэвида Гребера — недавно скончавшийся левый интеллектуал Гребер в этой книге затрагивает вопрос, который окружен своеобразным «заговором молчания»: почему вокруг существует так много бессмысленных должностей (менеджеров по продажам, корпоративных юристов, маркетологов) и почему люди на них чувствуют себя глубоко несчастными. Читается как увлекательный детектив, в котором ценности глобального капитала замещают собой человеческую потребность в создании чего-то по-настоящему нового. А заодно — лучшая апология безусловного базового дохода на русском языке.

— «Сад» Марины Степновой — исторический роман о том, как воспитание и безграничная забота о ребенке может породить чудовище. А еще: о вырождении русской усадьбы, неправоте русских классиков и о том, почему старший брат Ленина решил убить царя.

Про тенденции же говорить рановато, но сейчас кажется, что желания угнаться за актуальными событиями последних двух лет у российских писателей поубавилось. Да и читатели сейчас, скорее, охотней читают фантастику и фэнтези, исторические романы и детективы. Растет интерес к книгам в аудиоформате, так что в ближайшее время мы увидим новые эксперименты писателей в виде аудиосериалов.

Нельзя не отметить и роспуск «Роспечати», которая, по распространенному мнению, долгое время ограждала индустрию от государственного вмешательства, а также принимала сравнительно небольшие меры по поддержке книжной сферы во время пандемии. В России до сих пор НДС на книготорговлю составляет 10 % — практически грабительский процент по меркам развитых стран.

Понятно и то, что не все независимые книжные магазины и издательства переживут вторую волну пандемии, так что ждем еще большей монополизации рынка. Хотя раньше казалось, куда уж больше.

2. Нет, в минувшем году о ближнем зарубежье читать не удалось, если не считать нового романа Андрея Иванова, который публикует на страницах своего журнала «Носорог». Довольно модернистский по духу роман о том, как экспату тяжело живется в стране ЕС.

3. Тут сразу надо заметить, что работа писателя всегда была связана с локдауном — и, вероятно, будет связана в будущем. Просто раньше эти ограничения авторы накладывали на себя сами: достаточно вспомнить, как Исигуро запирался дома, чтобы за месяц дописать «Остаток дня», а Джонатан Литтелл за месяц в номере отеля с приличным запасом спиртного написал «Благоволительниц». Не новой для книжной

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?

индустрии является и удаленка: сотрудники издательства «Манн, Иванов и Фарбер» уже несколько лет работают вне офиса.

Что точно изменилось, так это отношения участников рынка, с одной стороны, и читателей — с другой. Оно проявилось уже в несколько трагикомичной форме в июне, когда посетителям так и не отмененного, несмотря на высокие цифры зараженных, фестиваля «Красная площадь» предлагалось в специально оборудованных павильонах общаться с авторами книг через зум. Окончательно этот тренд оформился, когда в декабре отменили главную книжную ярмарку Москвы «Non/fiction» и перенесли на март будущего года. Важность этого решения не стоит недооценивать: до сих пор около 75 % книг россияне покупают в книжных магазинах и на книжных фестивалях, а возможность лично пообщаться с автором до последнего времени была едва ли не главной стратегией продвижения книги. В 2020-м же году презентации книг «переехали» в зум, а независимые книжные магазины обзавелись курьерской доставкой, и вот это действительно важный поворот: как продвигать книги, если автора видно только в окошке на экране? И тут неожиданно на первый план вышел уже давний тренд: сейчас главным способом продвигать книги являются экранизации. Карантин сделал успешным сериал «Эпидемия» по роману Яны Вагнер, вернул в топ-листы автора «Ферзезового гамбита» Уолтера Тэвиса и Луизу Мэй Олкотт с ее «Маленькими женщинами». Трудно предсказывать, как дальше пойдет дело, но кажется, что видео- и аудиоформат как способ продвижения книг будут все популярнее. Возможно, мы даже застанем возвращение буктрейлеров (которое не задалось даже после выхода «Текста» Глуховского) и аудиотрейлеров, когда озвученная версия книги будет выходить одновременно с бумажной.

В конечном итоге карантин, скорее, показал, насколько разными могут быть способы продвинуть книгу. А вот смогут ли издатели этим воспользоваться, нам еще предстоит узнать.

Валерия Пустовая, литературный критик (г. Москва)

«От обреченности к творению смысла»

В минувшем году у меня сломалось ощущение инерционной очередности литературного сезона. Столько авторов словно бы перепрыгнули себя, пересобрали, совершили рывок в новый для себя жанр, вышли на новую точку восприятия.

Эпиграфом к году стал для меня сборник рассказов Романа Сенчина «Петля». Его и сборником не назвать: получилась цельная книга, исследующая перемену жизни как поступок и цель — и как судьбу вещей и трагедию. Герои писателя, даром что разного возраста, от детского до предпенсионного, как будто вошли в новую зрелость: у них появилось желание осознанно влиять на свою жизнь, и автор предоставляет им выбор. Изменился, дозрел до нового себя и сам писатель: проступили игровое начало, тяга к литературному эксперименту, заметна жанровая раскованность, позволяющая свободно переходить от исповеди к перевоплощению и из бытовых ситуаций извлекать детали-символы.

Самоисследование обращает в притчу Алла Горбунова в книге рассказов «Конец света, моя любовь». Книга демонстрирует одно из чудес литературы: тематически

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

книга узка, тесна, односпальна, как детская кровать, из которой автогероиня словно бы стремительно вырастает, — но исследование добирается до такой глубины, где раздвигается до ковчега, в котором от обрушившейся водяной стены времени спасены избранные лица и воспоминания. Мы читаем о конце чужого детства, но задаемся вопросом о нашей готовности к прощению и прощанию. В книге чувствуется соревнование поэзии и терапии: уже отыгранные в реалистических главках ситуации автор отраженно проживает в мистических новеллах и сказках.

Попасть в каждого, не говоря ни о ком конкретном, — другое чудо литературы. Виталий Пуханов трансформирует притчу и политический анекдот, страшилку и сказку в фольклорный и одновременно целиком авторский жанр историй об «одном мальчике». Книги «Один мальчик. Хроники», «Одна девочка» и соприродную им книгу стихов «К Алёше» я бы назвала символами года, впрочем, переступающими временные границы и прошлого (поколенческие), и настоящего (актуальная повестка). Они вырвали нашу растерянность из лап истории и быта, сделали ее философской категорией, описывающей судьбу человека, обнажили предательство как условие прогресса и в мировой гармонии расслышали не затыкаемую синкопу разочарования.

Зеркальный опыт представил драматург и блогер Валерий Печейкин в книге «Злой мальчик»: он творит фольклорного героя современности из самого себя. Его микропроза внешне не связана ни сюжетом, ни временем, но вся она страшно центростремительна и не просто автобиографична: книга, скорее, подделывает биографию, артистично доказывая, что все ее элементы и участники подчинены единственной цели — самопрезентации автогероя. Зеркален и эффект книги: «злой мальчик» действительно злит, запуская в читателе не философское принятие — а площадной, карнавальнй мордобой, объектом которого неожиданно оказывается он сам.

Философскую загадку жизни поэтически разрешает книга Нади Делаланд «Рассказы пьяного просода». Первая книга прозы поэта собрана из мистических новелл, заступающих за границы видимости, но прочно привязанных к смыслу обычной человеческой судьбы. Это целая жизнь, рассказанная в сказках, это предания о том, как открывается сновидческая бездна в рядовых сомнениях, неоригинальных сожалениях и обычных человеческих трагедиях, до которых никому нет дела по нашу сторону, потому что световая энергия их добывает сразу до той стороны.

Реальную магию вытаскивает из-под завалов магического реализма Ирина Богатырёва в романе «Белая Согра». В романе много традиционных ключей — подкатов к волшебным верованиям северной деревни, — но ни один не отопрет. Не получится прочесть весь роман ни как подростковую повесть о городской девочке на природе, ни как терапевтическую притчу об исцелении бабушкиной любовью, ни как хоррор о войне ведьм, ни как фольклорную экспедицию в края, где язык завораживает, как пейзаж, а пейзажи говорят прямее слов. Все это есть в романе — но ценнее мерцание смыслов, последнее непонимание, которое и выступает оберегом фольклорной памяти. Роман построен на двойном зрении, благодаря которому так до конца и не ясно, был ли мальчик, была ли ведьма, лечит ли заговоренная трава и правда ли никогда не покидают нас ушедшие со света родные.

Вышел роман писательницы из Казахстана, за который я болела, будучи в жюри премии «Лицей» в прошлом году. Тогда роман Малики Атей «Я никогда не» попал в финал, а для меня он стал победителем. Удивительно цепкая к деталям речи и быта, языкатая и умная молодежная проза покорила в том числе и образом главной героини. Это новый образ поколенческого бунта: протест выражается в созидании, в сотворении

своего уголка красоты и справедливости. Идея созидательного отторжения — действительно открытие современной литературы о подростках, я в этом вижу воплощение смены эпох: постсоветской, в которой выросла сама, на ту, что целиком живет в настоящем, и это мир осознанных возможностей.

Созвучное ощущение от романа драматурга Керен Климовски «Время говорить», который вписывает историю взросления в круг традиционных израильских праздников и одновременно в контекст русской литературы. Героиня и наделена, и обременена наследием — культурным, родовым. Но она та, кому предстоит пустить колесо семейной истории по новой колее. Кажется, что это старшие в романе бунтуют, — а героиня, напротив, увещевает мир внять наконец доводам справедливости и любви.

Изумили в 2020 году критики — Ольга Балла, выпустившая книгу стихов «Сквозной июль. Из несожжённого», и Екатерина Федорчук, у которой издали роман «Трибунал», победивший ранее в конкурсе Издательского совета Русской Православной Церкви на лучшее художественное произведение о «новомучениках и исповедниках Церкви Русской».

В минувшем году замечательны и книги критики — «Смысловые практики» той же Ольги Балла, которая картографирует путешествия писателей за смыслами и легитимирует множество разножанровых художественных поисков как акт оправдания бытия, и «Ижицы на сюртуке из снов» Александра Чанцева, которая открывает не истоптанные критикой участки культурной карты и задает уверенную эстетическую планку разговору даже о самых дискуссионных авторах.

Интересно многообразие ликов актуального романа. Это и сыновняя одиссея либерального отпрыска российской политической элиты в романе Игоря Савельева «Как тебе такое, Igon Mask?». И взвешенный и поучительный, будто настоящее журналистское исследование, хотя автор признался, что всё придумал, роман Алексея Поляринова «Риф» о жертвах секты. И семейные драмы в книге Виктории Лебедевой «Как он будет есть черешню?», которые оборачиваются историями позднего взросления и ворованной, как воздух, только у самого себя — свободы. В книгу вошли заглавная повесть и роман «Без труб и барабанов», открывающие разобщенность как самый традиционный язык родства, а беспечность (и обеспеченность) как самый традиционный образ свободы.

Отмечу след онкологической угрозы, о которой продолжает думать современная литература, пополняющая корпус текстов утешающих, укрепляющих, сближающих людей в памятовании об уделе всех живых, шествующих от рождения к смерти и от обреченности к творению смысла. В 2020 году вышли «Человек в бандане» журналиста Александра Беляева и «Дышите дальше» Шаши Мартыновой.

В прошлом году литература выступила одной из главных утешительниц и проступила как неременная часть быта в карантинной изоляции. Немало встретилось мне в Фейсбуке признаний, что, несмотря на усиливающийся до паники разговор о гибели книжной торговли и даже книжного производства из-за санитарных мер, многие читатели продолжали пополнять домашнюю библиотеку — уверенные, что тем самым вкладываются в свое здоровье, по крайней мере — душевное.

Меня, впрочем, еще больше, чем книжные закупки в год коронавирусного удара по литературе, вдохновляет то, как литература отразила удар: буквально запечатлев портрет года. Книг о коронавирусе уже вышло анекдотически много, в том числе и ликбез с картинками для детей. Но мне хочется отметить два эксперимента — в нонфикшн и ультра-фикшн. «Пушкин. Болдино. Карантин» Михаила Визеля я читала как документальный роман о поэте, застрявшем в самой счастливой и наполненной

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

поре жизни, которую не распознал, за пределы которой стремился: как притчу о каждом из нас, стремящихся выпрыгнуть из своего настоящего в мечтаемое завтра, отделенное от нас каждый раз словно бы карантинной чертой. «Изнанку» — третий роман поэта Инги Кузнецовой — читала как фантастическое исследование, возможное именно что на поэтическом языке. История, написанная от лица коронавируса, разведывает границы живого и неживого, ставит вопросы о нашей обреченности выживанию и взаимному во имя его пожиранию, наконец, выводит разговор о пандемии за пределы медийной логики, помещая в центр его не проблемы человека — а проблемы бытия. Придать самой актуальной теме звучание вечной, изначальной — ход поэта и еще одно, высшее чудо литературы, удивительно усиленной всем, что пытается ее прикончить.

Елена Сафронова, литературный критик, прозаик (г. Рязань)

«Люди, меж тем, отреагировали на пандемию творчески...»

1. Мне хочется ответ начать с того, что 2020 год очень сильно перестроил нашу «оптику» взгляда на жизнь. В этом кошмарном году стало понятно, что главное событие — сама жизнь. Возможность физического существования без угроз, без страха, без дамоклова меча болезни. Может быть, стоит говорить только о себе, но я уверена: все человечество испытывает подобные чувства. Лично для меня главное событие — то, что все еще, слава богу, имею возможность читать книги, рассуждать о них, писать рецензии, и что коронакризис еще не искоренил литературный процесс, не унес из нашей жизни тягу к прекрасному и к «продуктам искусства» — чему и опрос «Дружбы народов» подтверждение. Дай бог, чтобы такого и не случилось!..

Возвращаясь к книгам. Их я в прошедшем году прочитала традиционно много и самых разноплановых. В тенденцию, пожалуй, выстраиваются книги биографического свойства. Год для меня начался с трех писательских биографий, прочитанных подряд за короткий промежуток времени. Это были книги:

— Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский. Венедикт Ерофеев: посторонний. — М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2018. — 520 с. ;

— Олег Демидов. Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов. — М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2019. — 630 с.;

— Захар Прилепин. Есенин: Обещая встречу впереди. — М.: Молодая гвардия, 2020. — 1029 [11] с.: ил. (Не путать с его же трудом о Есенине из серии «ЖЗЛ»!)

Знакомство с этим трио произвело на меня глубокое впечатление, которое вылилось в обзорную статью «Три слова о мёртвых», опубликованную в журнале «Бельские просторы» (№ 4 — 2020). Мне показалось знаковым, что три подробнейших жизнеописания писателей явились на свет эдаким «залпом». В последнее время все громче звучат высказывания о том, что нон-фикшн становится едва ли не значимее «худлита». Роман Сенчин в своем блоге на портале «Ревизор.ru» прокомментировал это явление так: «Впрочем, документальная или псевдодokumentальная литература,

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?

мемуары или имитация мемуаров в последние лет двадцать пользуются достаточно большим вниманием. Думаю, люди устали от игры в литературу, от неуместной фантазии авторов, от так называемого хардкора в литературе». То, что «Посторонний» в конце 2019 года получил гран-при главной российской литературной премии «Большая книга», тоже свидетельствует о некотором «превосходстве» документальной прозы над фантазийной. И, думаю, книги о Мариенгофе и о Есенине еще получат свои лавры.

У создателей каждой из этих биографий было свое ноу-хау одного и того же процесса — «вживания» в натуру своего героя. Авторский коллектив Лекманова-Свердлова-Симановского для этого собрал более шестидесяти воспоминаний и впечатлений о Венедикте Ерофееве от людей, лично его знавших, и провел параллель биографии Венедикта Васильевича с одним днем из жизни Венички — тем самым, когда он поехал в Петушки. Демидов собрал в книгу, наверное, все, что можно было найти о Мариенгофе, включая «неофициальные» сведения под общим грифом «Слухи, факты и большая литература», которые поэтично назвал «шумом времени». А Захар Прилепин просто «сжился» со своим «фигурантом», рассказывая о нем едва ли не панибратски, благодаря чему развенчал множество красивых мифов о Есенине, но и показал его живой полномерный портрет. Критик Елена Васильева в своей рецензии на биографию Мариенгофа сказала: «Это еще одна книга о том, каким необъятным и трудным был XX век». Её слова можно отнести ко всем трем работам: все они о том, каким необъятным и трудным был XX век. После этого «залпа» в русской литературе, во-первых, осталось меньше «белых пятен», а во-вторых — «страха перед именами». Это особенно важно, если тенденция к «документализации» литературного массива верна.

А она, по многим признакам, наблюдается не только в российском литпроцессе. В минувшем году я прочитала книгу современного английского писателя и драматурга Эдварда Кэри «Кроха» — романизованную биографию создательницы Музея восковых фигур Мари Тюссо. Книга любопытна концепцией: это не байопик и не документальный роман, а... имитация жизнеописания Мари Гросхольц, якобы, созданного ею собственноручно и, если можно так выразиться, собственночувственно. Не то чтобы мне этот текст приглянулся — скорее, оттолкнул чрезмерным проникновением автора в самые темные страницы жизни Мари, в глубины ее психики, а также весьма красочными и мерзкими допущениями. Но на самом писательском подходе надо, что называется, сделать зарубку. Учитывая, что другой английский прославленный автор, Джулиан Барнс, давно уже пишет биографии писателей («Попугай Флобера» и пр.) именно в таком причудливом ключе, сочетая архивные сведения с писательскими реконструкциями, и получающийся «кентавр» нон-фикшна и худлита пользуется читательским спросом, тенденция есть — и публика её благодушно принимает.

Продолжает «торжество» нон-фикшна в моих глазах книга Тимура Кибирова «Генерал и его семья» (второй приз «Большой книги» 2020 года). Создатель определил сочинение как исторический роман, но я позволю себе с этой дефиницией не согласиться. Автор «Генерала...» откровенно играет с читателем, вводя себя в текст как полноценно действующее и активно комментирующее лицо и дополняя вымышленные события личными воспоминаниями и подлинными дневниками своего отца, замполита Кибирова, так что документальное и автопсихологическое в книге, пожалуй, перевешивает.

В завершение краткого экскурса в поистине необъятную тему «соперничества» нон-фикшна с художественной литературой упомяну «круглый стол» «В поисках

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

утраченного жанра. Проблемы современной жанровой литературы», который совместно организовали журнал «Сибирские огни» и информационный портал о культуре «Ревизор.ru» в ноябре 2020 года в Zoom (материалы будут опубликованы в первых номерах журнала за 2021 год). Обсуждению подлежало современное состояние детектива, исторического романа и фантастики — а также детской литературы, о которой нужен отдельный большой разговор. Так вот, в процессе беседы об исторической прозе наши участники не раз упомянули, что общество от данного жанра больше ждет «документа», чем авторского вымысла.

2. Прочитала две книги Анны Зеньковой о подростках и для подростков: «С горячим приветом от Фёклы» и «Григорий без отчества Бабочкин». Формально это литература «ближнего зарубежья», потому что Зенькова живет и работает в Минске. Но я бы сказала, что эти книги «родом» не из Минска и не из Беларуси вообще, а из страны детства. Мы привыкли называть «страной детства» какой-то мирок вроде игровой площадки для малышек, с комфортабельными удовольствиями и искусственно созданным климатом. А ведь страна, в которой живут дети, особенно подростки, тем более, если они сироты или отпрыски неблагополучных семей, порой весьма неуютна!.. Есть ли она на карте мира, чтобы мы могли говорить о ней как о «ближнем зарубежье»?.. В общем-то, хорошие книги для подростковой аудитории должны стирать границы, ломать преграды между взрослыми и детьми, чтобы никто не жил в собственном аутичном мире, наедине со своими проблемами... Не все в книгах Анны Зеньковой мне понравилось, кое-что выглядит надуманным, ненатуральным. Но она искренне хотела поставить эти вопросы, проговорить то, что мучает детей. И ее стремление «распахнуть границы» между взрослыми и детьми заслуживает уважения.

Иностранную литературу не в фигуральном, а в буквальном смысле тоже довелось читать. Автором литературного журнала Союза писателей Москвы «Кольцо А» является жительница Турции Юлия Тимур. Она уроженка России, переехала в Турцию в связи с замужеством. Не так давно она показала мне свой роман «Под сенью платана», вышедший на «Ридеро». Это любовная история в духе самого известного нам турецкого автора Эльчина Сафарли, но меня больше впечатлило внимание автора к атмосфере обиходной жизни, быта и нравов своей новой родины — возможно, своеобразная творческая попытка глубже приобщиться к ее ментальности и культуре. По крайней мере, я от Юлии куда больше узнала о стране, которую мы воспринимаем как один сплошной пляж. Судя по роману, для местных жителей там совсем не курорт, особенно для женщин, которые по-прежнему, как в средние века, во всем должны зависеть от мужей.

И я всегда обращаю внимание на жанровую литературу других стран — условной развлекательностью дело, как правило, не ограничивается. Относительно новое для россиян имя — Микаэль Ниemi, швед. В мире он популярен уже с 2000 года, а в нашей стране, если не ошибаюсь, первая изданная его книга появилась в прошлом году — «Сварить медведя». В аннотации она подается как остросюжетный детектив о маньяке, убивающем женщин, но вообще-то это больше исторический роман из истории Фенноскандии. Так называется физико-географическая страна, куда входят Скандинавский полуостров и Финляндия, то есть Фенноскандия для России типичное ближнее зарубежье. В книге появляется реальная фигура пастора Лестадиуса, просветителя и «крестителя» саамов и составителя ботанического атласа своей земли. Из романа можно почерпнуть много познаний о жизни и психологии саамов. Детективная линия тоже есть. Для антуража.

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?

Другие новые для меня авторы — тоже шведский дуэт: Ханс Русельфельд и Микаэль Юрт. В серии «Триллер по-скандинавски» вышел их роман «Могила в горах». Это, скорее, роман о большой политике: в горах обнаружена могила с телами, которые принципиально сделаны неопознаваемыми. В процессе расследования преступления полиция выходит на факт, что примерно в то же время пропали два афганских мигранта. В общем, треть книги посвящена жизни афганской диаспоры в Швеции и проблемам геополитики. Считаю обязательным упомянуть этот роман в опросе «Дружбы народов».

3. Мы возвращаемся к тому, с чего я начала: 2020 год очень сильно перестроил нашу «оптику». В том числе он показал, что в условиях самоизоляции и «социальной дистанции» роль искусства — которую мы умудряемся не замечать, пока все нормально, — очень высока. Возможно, помните, два года назад по сети прошла скандальная новость: на антарктической полярной станции один сотрудник ударил другого ножом за то, что тот рассказал ему спойлер взятой в библиотеке книги. Лишил, понимаете ли, нескольких часов удовольствия и радости первооткрытия!.. В прошлом году мы все оказались практически на такой вот полярной станции. И то, что может скрасить томительные часы, имеет ценность уже не материальную, а сакральную. Но вместе с тем экономический кризис, вызванный пандемией, сказался на выпуске новых книг (особенно — за «новыми», нераскрученными именами), на выходе новых фильмов, на постановочной деятельности театров... Это поистине трагично. Я не знаю векторов выживания и, кажется, никто их не знает. Вопрос глобальный и слишком серьезный, чтобы о нем рассуждать походя, я не стану.

А люди, меж тем, отреагировали на пандемию творчески. Уже весной в редакции литературных журналов хлынули свеженарисованные рассказы и романы про эпидемии, вирусы, развивающуюся на их фоне социальную строгость и т.п. Не все они дошли до публикации, в том числе и потому, что написать «по горячим следам» еще не значит «написать качественно». Оказалось, лучше всего отражают эпидемию проекты, созданные в благополучные времена исключительно авторской фантазией. Например, весной стал самым просматриваемым в интернете фильм «Заражение», снятый в 2011 году Стивеном Содербергом: об эпидемии вируса MEV-1, пришедшего из Китая в США. Также переключку с коронавирусом нашли в южнокорейском сериале 2018 года «Териус у меня за спиной», где тоже описана неизвестная науке болезнь, имеющая все симптомы ковида... Ну, и об успехе российской «Эпидемии» нельзя забывать. Правда, интересно, что литературный первоисточник «Эпидемии», роман Яны Вагнер «Вонгозеро», не выбился на этом фоне в топы продаж — по крайней мере, об этом ничего не слышно. Может, потому, что люди уже хотят писать новые книги об этом?.. Мне представляется, тенденция, как будет выглядеть в ближайшем будущем мировая литература, определенно наметилась.

(Окончание в следующем номере)

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

Валерия Пустовая

Шаманский аперитив

Шамиль ИДИАТУЛЛИН. «Последнее время»: Роман. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2020

Шамиль ИДИАТУЛЛИН. «Последнее время»: Роман // Аудиоверсия. — <https://www.litres.ru/shamil-idiatullin/poslednee-vremya-62718697/>

Бывает и так: дослушаешь новую остросюжетную книгу Шамиля Идиатуллина «Последнее время» и захочешь, рассиропившись, признаться во первых строках, как костерила автора и натурально призвала Господа в помощь, когда было уже невмоготу, и орала героине в плеер, вещающий через маленькую домашнюю колонку: «Ну, давай, прыгай уже, просто — прыгай!» Ну точно как в кино, которое со мной уже отказываются смотреть и муж, и лучшая подруга, потому что я, когда волнуюсь, с движущимися картинками — говорю. Да только, дослушав, так и не поймешь, с чем именно у тебя сейчас случилось такое «единение».

«Единиться» — слово из романа, фривольное, зазывающее в повествование о метанациональной катастрофе откровенными звуками соитий в заповедных лесах.

В понятный и прочно поделенный между народами мир приходит одна на всех беда: зерно гниет, вода горчит. Люди снимаются с мест, надеясь, что там, где они не успели надоесть, земля их примет.

У каждого народа свой путь — но в романе Идиатуллина этот путь один: все траектории, как и сама история Великого переселения, тут искажены магическим кристаллом. В поисках новой земли каждый из народов вспомнил о той, где точно еще не наследил, — земле народа мары, или, как их называют недобро, лесных колдунов, — закрытой, неведомой, потому что проваливалась под ногами всякого, кто вступал из внешнего мира.

У мары в этом романе путь ни на что не похожий, нечеловеческий, истории поперек. В опознаваемый мир — с географической пометкой «Итиль» в финале, будто кнопкой карту к стене прикол, — Идиатуллин зашвыривает волшебный сосуд с самым лучшим из хорошего, что было в прошлом и что можно пожелать у будущего.

Забавно читать о проблеме подзарядки самокатов в эпоху переселения народов. Но важнее современная установка на экологичность чувств и среды, которой заряжены правила волшебной жизни мары. Неслучайно эксперт Лайвлиба Майя Ставитская в комментарии к посту Идиатуллина от 18.10.2020 пассионарно возражает: «Вот хоть

Фрагмент романа Шамиля Идиатуллина «Последнее время» можно прочесть в «ДН» №10, 2020.

режьте меня, хоть ешьте. Я все-таки думаю, что это никак не про прошлое нашей реальности»¹.

«Живородный пластик» — Владимир Сорокин как будто заранее и в два слова создал пародию на мир Идиатуллина. Здесь «единятся» высокие технологии с безотходностью: помочившись в лесу, капни сушилителем. Носят вышитое у ворота — и юзают крылья и дупла-порталы. Все сыты — а земля сама производит и раздаёт одежду, кров, железо. Каждого растят в любви — но искореняют страсти: агрессия прощительна только «ползунам» — и потому, как к детям, относятся к варварам, которые могут поднять руку на человека и иное живое существо. Живут в согласии с природой: «единиться» без границ — экологично, и главный жрец делится беспокойством о простоте при воздержании, — а природа пронизана эдемской чистотой: это мир без зла, и даже хищный зверь в нем не тронет.

На «единение», однако, можно посмотреть и шире — подняться над буквально предьявленным смыслом слова: соединением мужского и женского, прошлого и будущего, — как поднимается роман над интересами до поры избранного землей, колдовского народа.

«Единиться» — слово-ключ к роману, пронизанному линиями слияния и сепарации.

«Последнее время» играет энергией привязанности, словно лекция современного психолога о родительстве и детстве. Главная удача романа — точное совпадение личностного и всенародного испытания. Герои, как и народ мары, испытываются задачей отвязаться — встать на ноги, когда пуповину перервет. Глобальность, неотвратимость перемен придает новую энергию сюжету взросления.

Как бы ни менялись условия жизни, заметно, что все опорные персонажи мары до последнего принадлежат сказке: жрец, потерявший богов, остается отцом своим «птахам и птенам» (и потому не только оказывается в центре эпической финальной битвы, но и, к примеру, наотрез отказывается «единиться» с духовными дочерями), лекарка продолжает носиться с загадкой мужского семени (и самим этим семенем, изъятым для образца в рамках не вполне научного эксперимента), боевой маг, растеряв магию земли, так и не переродится в воина и будет плестись по роману свидетелем чужих подвигов, всеобщая духовная мать до последнего ведет себя по-матерински.

Поэтому, хотя персонажей много, в главные герои народа мары нетрудно выделить отщепенцев сказки: хмурую Айви и презираемого ею, потому что чужой по крови, пастушка Кула. Оба героя идеально вписываются в глобальный сюжет романа: это люди, которым не дано было вкусить сладости слияния. Айви никогда не «единилась», и ее девическая неловкость заставляет ее приотставать от общей жизни, сомневаться и во всё вмешиваться. А Кул, подкидыш, воспитанный среди мары, так и не смог стать своим: заповедная земля не приняла его, обделив общими здесь дарами, — и он волком смотрит, как на решетку, на волшебный лес, из которого до поры не умеет выйти.

Эти двое получают в романе эффектный противовес в виде злодейки, которая является к мары волей внешнего мира. Отпетый, по понятиям безобидных мары, персонаж: кровавая мстительница, живущая без руководства и защиты своего народа, а значит, только в своих интересах, — она вызывает азартное сочувствие в читателе. Здорово ведь, когда женщина может постоять за себя перед превосходящими силами

¹ Пост Шамиля Идиатуллина от 18.10.2020 // https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2904922819609868&id=100002765340724

насильников. Но обаяние образа не в резне, а в том, что перерезать нельзя: в эпоху, когда все народы сподвиглись к новому, отбившейся от стада степнячкой Кошше движет мотив старый, как мир. Ей нужно вернуть и спасти из месива переселения сына. Женщина-убийца запоминается матерью, несломимо верной себе, а значит, прущей против не только врагов, но и самого «последнего времени». Скульптурное ее постоянство подчеркнуто образом «мальчика» — ее сына, который не шевельнется и взгляда не переведет без приказа матери, а в бойне усидит у нее на руках, прижавшись крепко. Неисправимая мать и не слезающий с рук ребенок — образ слияния, которое все потеряли, и поэтому, даже когда Кошше выступает в роли антагонистки, мы продолжаем желать ей победы. А значит, как и сам роман, предаем народ мары, чья историческая неприкосновенность истекла, а центральное положение смещено, и ни у земли, ни у автора, ни у читателя они больше не в приоритете.

Разгерметизация — традиционная пусковая точка, а размыкание огороженной сказки в историю после грандиозно растянутой саги Джорджа Мартина и вовсе не должно растревожить. И все же доброжелатели романа — а других я пока не встречала — упоенно поздравляют автора с новым словом. «Ничего похожего не только в отечественной литературе, но и в мировой, сколько могу судить, еще не было. Новое слово, во времена ремейков и ремиксов, дорогого стоит», — пишет Майя Ставитская в отзыве на Лайвлибе¹. «Ничего подобного я пока не читала. Мозг судорожно бился в поиске аналогий и остался ни с чем (да и зачем). “Последнее время” — новый виток», — признается пользовательница umigee в Лабиринте².

Объяснить эти авансы автору можно разве что в свете столь же единодушно выраженной радости по поводу отсутствия в романе эльфов. «...Никаких гномов и эльфов. Все расы, “правила игры”, флору и фауну Идиатуллин постарался придумать без оглядки на канон», — одобряют Сергей Уваров и Николай Корнацкий в газете «Известия»³. «Совершенно не похожие на бесплотных остроухих эльфов, с которыми невольно ассоциируешь подобный тип взаимодействия с природой, мары трудятся на своих биофабриках...» — считает нужным оговорить Майя Ставитская. «...Всех спасет не изысканный эльф, а подброшенный варвар не “титупной нации”», — делится ожиданиями Александр Чанцев, хотя даже у создателя канона Толкина в спасителях мира пришлось походить вовсе не эльфам⁴. «Эльфийский по своей сути мир мары обречен, ибо грядет новая эпоха, в которой их мирной магии не найдется места», — выстраивает, как по чертежу, ожидания читателя и Галина Юзефович, с тем чтобы в следующем абзаце их тоже опровергнуть⁵.

Есть похвалы, от которых книгу хочется читать. А есть такие, от которых книгу хочется читать внимательнее. Отзывов я нахваталась, уже дослушав роман, и они не позволили мне удержаться на пуповине чистого и благодарного удовольствия. Потому что я закончила слушать с чувством, что автор, вильнув колесом в неведомое, в итоге вернул меня в колею.

¹ Рецензия Майи Ставитской от 23.09.2020 // <https://www.livelib.ru/book/1004770966-poslednee-vremya-shamil-idiatullin>

² Рецензия umigee от 8.10.2020 // <https://www.labyrinth.ru/reviews/goods/765737/>

³ Николай Корнацкий, Сергей Уваров. Смешать и взболтать: Бонд для детей, чертовщина — для взрослых // <https://iz.ru/1066481/nikolai-kornatckii-sergei-uvarov/smeshat-i-vzboltat-bond-dlia-detei-chertovshchina-dlia-vzroslykh>

⁴ Александр Чанцев. Случилась экология // <http://textura.club/sluchilas-ekologiya/>

⁵ Галина Юзефович. «Последнее время» и «Неучтённая планета» — два российских романа, в которых происходит что-то фантастическое // <https://meduza.io/feature/2020/09/19/poslednee-vremya-i-neuchtennaya-planeta-dva-rossijskih-romana-v-kotoryh-proishodit-chto-to-fantasticheskoe>

Новых витков не хватает в романе, чья динамика проседает по мере наращивания боевых единиц. В финале народы, лодки, стрелы мелькают — но это будто по инерции раскатывается дернутый за уголок ковер. И в развернувшейся картине плетение просматривается неплотным.

Кошше прекрасна, спору нет, — но не затмит тот факт, что автор трижды разыгрывает с ней одну и ту же сцену мести, от вождения к воздаянию (однажды ей приходят на помощь, но суть повторяющегося эпизода от этого не меняется). Причем если первая обжигает неожиданностью, то в двух других хочется спросить, не специально ли она на них напоролась. Эффектен ход с временной петлей, которой воспользовалась Кошше, — но петля торчит, потому что законы представленного мира не позволяют вязать ее в общий рисунок. Исполняющий желания лесной артефакт, достигнутый к финалу, оставил ощущение, что линии романа свелись и без него. И таким же лишним оказывается волшебный корень, из-за которого Кошше нарушила покой народа мары: он нужен был как повод столкнуть ее с главными героями, а повествование, как и переселение, спокойно покатило дальше, словно этой задачи и не было. Зато волшебный помощник Кула, помогающий ему и, по его просьбе, другим мары уйти от смертельной опасности, слишком выскакивает палочкой-выручалочкой. Про кольцо же, которое загадочным образом находит Кул и которое потом, в финальном бою, «молило о тетиве», не то усиливая, не то олицетворяя колдовство, захватившее и перековавшее волю нового обладателя, даже говорить неудобно, до чего оно одно стоит всех эльфов, какие могли проشمыгнуть в заповедные леса романа.

А финала будто и нет: пришли к тому, от чего ушли. Народ мары подводит магия земли — но в финальной битве он использует старый с ней фокус. Народ лишился сверхспособностей — но пуляет небесным огнем. И «цепочка чудес», как выражается герой романа, пытаясь осмыслить обнадеживающий финал, кажется авторским произволом, игнорирующим законы им же созданного мира, и потому не вызывает доверия.

Ну и куда без «живых» героев. «Здесь все персонажи живые и разнообразные настолько, что руки чешутся примерить на себя чью-нибудь шкуру», — пишет chirkota на Лайвлибе¹. «Персонажи, вот главное богатство этого очень романного романа. Все такие живые, что прямо дрожишь, когда уже знаешь, что добром это все не кончится и все умрут. Ну, или почти все», — пишет пользователь ЖЖ belatwork². Чтобы понять цену такой рекомендации, мне достаточно было, случайно открыв рекламу совсем другой новинки в Фейсбуке, увидеть, как обозреватель Афиши Daily хвалит совсем другого автора за то, что ему «удается главный для писателя фокус — сделать героев живыми»³.

Живых героев не бывает без эволюции, как истории — без перемен. Мне очень понравилось, как задуманы главные герои романа, остро тоскующие по слиянию: с избранником — Айве, со своим народом — Кул, с сыном — Кошше. В каждом из них действительно заложена интрига развития — только не реализована. Они не остаются прежними, как второстепенные персонажи, но и не меняются по-настоящему. Невинность Айве так и не переосмысливается в ресурс движения, героиня, скорее,

¹ Рецензия chirkota от 19.10.2020 // <https://www.livelib.ru/book/1004770966-poslednee-vremya-shamil-idiatullin>

² Пост belatwork от 18.10.2020 // <https://belatwork.livejournal.com/802279.html>

³ Пост Редакции Елены Шубиной от 3.11.2020 // https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1737192053098369&id=101204873363770

прокачивает свое изначальное недоверие миру, так что в девице, давшей отпор блуднице Кошше, мы узнаем изначальную хмурую Айви. Сама Кошше исполняет трюк отмщения мужскому роду исправно, как цирковая лошадь. Ну а Кул раскрывается по полной, совершает смену национальных идентичностей на вираже, спасает всех, как положено отверженному сироте, — но избранность его открывается топором. Кул не развивает изначальные свойства и не решает внутренние противоречия — нет, его включают, как кнопкой, кодовыми словами на забытом, но родном языке, и эта двойная обреченность чуду — избранного загипнотизировали исполнить роль избранного — скукоживает главного героя в служебный элемент.

Недоработки — сигнал о принципиальном сбое художественного мира, который, подобно земле мары, отказывается родить. Жрецу мары удастся доискаться, что дело не в земле: исчезли боги, с которыми можно было бы договориться. И в отношении романа можно говорить о безблагодатности, которая означает дефицит идеи.

Прежде чем спохватываться об эльфах, вспомним совсем близко соседствующий роман — «Финист — Ясный сокол» Андрея Рубанова, романную вариацию сказки о земной девушке, полюбившей крылатого человека. Идиатуллин написал о народе земли — Рубанов о народе неба, но природа фантазии и нестыковок в романах одна и та же.

Сопоставление их плодотворно именно в свете «опыта деконструкции фэнтези», которым меряет удачу романа Галина Юзефович. А о деконструкции в данном случае уместно говорить в свете линий слияния и сепарации, сюжетообразующих для романа Идиатуллина.

След сказки в литературе ведет читателя к воссоединению с истоком — или к окончательному расторжению изначальных связей.

Сказки слияния оставляют читателя в ощущении: что-то все-таки есть. Над миром, над человеком, над личной судьбой. То, что придает надличностный, не бытовой смысл отдельной жизни и предопределяет ее ход.

Есть Небесная Нарния Клайва Льюиса, от которой самое страшное наказание — отпасть. Есть любовь, которая пронизывает собой магию, наделяя ее этическим смыслом, в семикнижии Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Есть тонко балансирующая на эмоциях и интересах граждан магия королевства в трилогии Марины и Сергея Дяченко о Маге дороги. Есть, наконец, не сводимая к одному формульно доброму слову гармония мира «Властелина колец» Толкина, одновременно грозная и чуткая, изначальная и нуждающаяся в защите.

Но не обязательно воссоединение счастливое, как с матерью. Сложную радость оставляют сказки Нила Геймана, словно бы забирающие энергию у дневного, обыденного мира, оставляющие незаживающую рану тоски по изнаночной стороне. По-настоящему пугают сказочные мотивы у Анны Старобинец, прививающие читателю тревогу перед вторжением, от которого нет у человека заслона.

Да и с мудрой и не по-матерински жесткой рукой истории в мире Джорджа Мартина не возьмешься поспорить.

Главное, что тут мы оказываемся частью сюжета, не нами инициированного, не нами разрешаемого. Частью важной, неповторимой, неотъемлемой, и все же — не центром, не истоком событий и правдивого — по меркам художественной вселенной — их толкования.

И вот романы Идиатуллина о людях земли и Рубанова о людях неба кажутся мне проводниками другой философии сказки. Той, где сказку нужно развеять, как морок, чтобы вывести человека в главные игроки и вершители своей судьбы. Сказки

сепарации — человекоцентричные сказки. Они непременно разочаровывают, троллят, шелкают по носу читателя, который готовился было к истоку припасть — а ему в руки коня, кирку, карту и самоучители. Они дарят нам ощущение свободы, приправленной печалью оставленности.

Тонко дразнится Терри Пратчетт из параллельной вселенной Плоского мира. Цикл о трех ведьмах и продолжающий его цикл о юной ведьме Тиффани показывают в динамике, как из игры в деконструкцию, легкой радости развинчивания жанра выходит новое основание сказочной этики. Мир Пратчетта очень чувствителен к границе добра и зла, но выбор между ними происходит благодаря тому, что разрушило бы всякую традиционную сказку: здравому смыслу. Ведьмы Пратчетта ходят в грубых, рабочих башмаках, твердо опираются на деревенские холмы и знают людей не по книгам, потому что помогают им не волшебством: трудами сиделки и мелким дрязгучим судом, бдением над роженицами и умирающими постигают пресловутую «головологию», которая вытесняет с этих страниц магию. А к магии настоящие ведьмы прибегают неохотно — потому что поняли: стоит вступить на этот путь, здравым смыслом уже не отделаться.

Символический, словно из каменных блоков мифа вытесанный роман Кадзуо Исигуро «Погребённый великан» разъедает сам себя по мере того как туманное его обаяние, застигающее престарелую супружескую пару на пути к почему-то далеко и неясно где живущему сыну, проявляет свою токсичную природу. Вокруг героев словно бы постепенно светает, и все более широко и осмысленно разворачивается ретроспектива их странствия, — и восстающее солнце правды безжалостно ко всему, что питает сказку. Вслед за мифом о воине-спасителе, рыцаре-избавителе, чудовище-вредителе сходит на нет сотканный из того же тумана миф о супружеской верности и вечной любви, о чести вождя и загробном воздаянии. Роман, не меняя, преобразует героев перед нашим внутренним взором, чтобы явить их суть перед лицом последнего одиночества.

Романы Идиатуллина и Рубанова встраиваются в этот ряд принципиально.

«Финист — Ясный сокол» Рубанова разрушает сказочную условность, сталкивая в романе логику сверхъестественную — и человеческую: вознесшийся над землей мир людей-птиц пронизан заносчивостью и самоуспоением элиты, а не высокими смыслами. В центр силы романа выдвигаются герои, чья человечность — сострадательность, верность, гибкость — позволяет подняться над выгодами и спесью клана. И Марья оказывается даже менее значимым лицом, нежели изгнанник небесного города, честный вор, выбравший жизнь между миром птиц и людей.

«Последнее время» Идиатуллина подвергает сказочных героев испытанию человеческой немощью. «Они тут мало что знали по-настоящему нужного» — эту фразу из романа можно отнести к любому из народов. Зеркально. Народы, живущие в истории, не знают не только настоящей силы земли, но, главное, силы милосердия, о которой кричит врагу боевой маг не у дел: мол, мары даже с насекомыми договорились, чтобы те не жалили, а вы даже не попробовали договориться — сразу пришли убивать. Народ мары, живущий до поры в своем бесконечном, круговом сказочном времени, не знает, как выживать без магии — освоить новые земли, дать отпор врагу. Знание каждой из сторон тут неполно, и получается, что до человека не дотягивают и мары, разнеженные матерински оберегающей землей (антагонистичная черта: мары смеялись над Кулом, который не мог повторить самых простых, обиходных магических действий, и ясно, что не только волей земли и крови он не сделался среди

них своим), и вторженцы (они крашены одной краской — кочевники безразличны, горожане похотливы, и оттого — жестоки).

В обоих романах-деконструкциях нет, однако, ответа на программный вопрос фантастики: что, если?

Что, если люди приподнимутся над естеством? — у Рубанова. Что, если в это естество человека втопчут? — у Идиатуллина.

Рубанов сам обрывает крылья своему роману, когда переводит его из фантастического плана в социальный. Вначале убедительно пугая образом «нелюдей», движимых одним инстинктом — «подавить», и постепенно поднимая повествование над землей, он снижает планку фантастики. Показав, что жизнь в летающем городе не могла не изменить природы человека, сужает последствия фантастического допущения до детских каких-то представлений о сверхсуществах, которые — можно и сказать по-детски — не какают, потому что почти не едят человеческой пищи. В итоге роман разбирается не в различиях людей и крылатых нелюдей, а в тягбе простонародья с олигархией. И получается, что дивно задуманный фантастический план развивается по своим законам, а роман по своим, и в какой-то момент автор бросает удачно начатый было опыт проживания и переоценки сказки, чтобы поговорить начистоту о наболевшем, вроде того, что «самые красивые женщины достаются князьям».

Идиатуллин эффектно закрутил интригу, в воронку которой легко попасться читателю. Не случайно в откликах на роман проскальзывает намек на «грозную аллегория нынешних “последних времен”» (Михаил Визель¹). Проблема в том, что гроза в романе отделяется громовыми намеками.

Отсюда заметное желание рецензентов провести свои аналогии, которые бы заселили свободные, как земли мары в финале, ареалы смысла.

Так, Александр Чанцев изобличает в лесном «раю» сходство с «казармой»: «все похоже на то, как уже было: провозгласили как-то “свободу, равенство, братство” — и начали топить в крови, коммунизм почти по христианским лекалам строить собрались — и еще пуще кровью страну залили». Трактовка напрашивается, но не сказать, что поддерживается романом: здесь нет отношений с системой, потому что у каждого с «раем» связь личная и жизненно важная, как у теленка с выменем.

«Пророчество» увидела в романе Анна Жучкова: «Начинается ломка старого и постижение нового. А новым оказывается — возвращение к себе. <...> Грядет великое переселение. Но спасет всех тот, кто вспомнит себя и изначальную правду. Жизнь и язык своих предков»². Трактовка, плотно пригнанная к тексту романа, и все же, как мне кажется, вдохновленная, скорее, саморазвитием мыслей критика в связи с романом, нежели мыслью автора, который и сам решил вдруг спрямить повествование и в нескольких донельзя простых фразах изложить всё, что вот только поведал. Да, в финале романа так и сказано: «Народ рождается медленнее, чем человек», поэтому «надо просто делать, что нужно твоему народу, — и быть рядом с твоим народом», а еще что есть «твой народ, твой враг, бесконечное небо и земля, бесконечность которой зависит только от тебя». Учитывая, что земли мары в финале объявляются «свободными», бесконечность овладения ими и впрямь зависит от ретивости вторженцев. А в «бесконечное небо» мары, народ земли, не верил, с небом

¹ Михаил Визель. Пять книг для бабьего лета (и не только) // <https://godliteratury.ru/articles/2020/09/25/piat-knig-dlia-babego-leta-i-ne-tolko>

² Анна Жучкова. Конец эона / Бахрома. Книги, о которых вы не слышали: сентябрь // <https://godliteratury.ru/articles/2020/09/15/bakhroma-knigi-o-kotorykh-vy-ne-slyshali-3>

не договаривался — и это специально в романе подчеркнуто. Что же до призыва «быть с твоим народом» и делать все для него, то тут мы и подходим к главному вопросу романа: кого считать своим? Автор и сам напускает многозначительности, вводя параллелизм в завершение линий Кула и Айви: каждый из них в финале пошел «к своим», вот только у читателя крепнет подозрение, что эти «свои» друг с другом воюют.

Горе и сила «последних времен» — в их безграничной растерянности, рождающей всевозможность. Человек «последнего времени» свободен — и оставлен. Он не знает, как жить, но поэтому и чувствует жизнь в каждом решении и усилии, наполненных волей ее продлить. На все это намекает роман Идиатуллина — но ничего из этого не раскрывает. Не получится рассказать о свободе в романе, где исход судьбы и битвы определяет магия крови, а человека можно заставить буквально забыть себя, заговорив с ним на его родном языке. Роман «Последнее время» крепко держится корней, настаивая на границах непонимания между народами, дожимая скудеющую магию, блюда гендерные ампула, наконец, в принципе делая ставку на поножовщину, спасение на краю, узнаваемые типажи и зов крови — все то, что безотказно вырубает в читателе рефлексию.

За это я и благодарна автору: отдельные образные находки его так хороши, что хочется вглядываться, не обременяя себя попытками связать их в сверхсюжет романа, который автор и сам свел к нескольким моралите. Призыв «делать, что нужно твоему народу, и быть рядом с твоим народом» неловко высказан и староват. Зато новизной ощущений и художественным мастерством веет от тихой лайвы, утягивающей за собой всё живое, в том числе мое воображение. А мор богов? А утес гнева земли, вывернувшейся наружу? А древний жрец, шугающийся девок? Боевые листки, земельные реки, кисельная ворожба...

В итоге роман напомнил мне курьез детского книгоиздания, заметного, когда ты недавно мать и набираешь библиотеку малышу по отзывам тех, кто в теме. Довольно часто под дорожкой, зато яркой, наглядной и, например, с окошками книгой появляются сетования покупательниц на информационную скудость текста — и неизбежные ответы представителей бренда, что задача этой книги — заинтересовать ребенка, а более глубокое погружение в данном формате невозможно. Из книг, справляющихся с задачей «заинтересовать ребенка», выстраивается этакое горизонтальное чтение, бесконечно мотивирующее ребенка на знание, которое ему только обещано.

«Последнее время» Идиатуллина кажется мне такого рода романом — бесконечным аперитивом, разжигающим вкус к обеду, который всё не несут.

Ольга Балла

Диалог с пространством

Человек и пространство, взаимоотношения человека и пространства — это, собственно, о чем? Всегда ли, непременно ли — о путешествиях, которые, конечно, идут на ум первыми? Может быть, не обязательно даже об освоении и отчуждении, о новизне и рутине (хотя это уже ближе к существу дела)? Две книги, которые привел на рецензентский стол зрячий случай и которые в формальном отношении, по жанровой принадлежности, — травелоги, помогают понять, что отношения человека и мест, в которых он оказывается, гораздо сложнее и богаче возможными смыслами, чем то, что с ними привычно связывается (впечатления, открытия...). Причем независимо от того, путешествует ли человек или не трогается с места. Это видно тем отчетливее, что авторы их — люди совершенно разные и в смысле интеллектуального темперамента, и в отношении задач, которые они перед собою ставят.

Человек воспринимающий

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ. Желание быть городом: Итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и 35 городах. — М.: Новое литературное обозрение, 2020. — 560 с.: ил.

«Эту книгу, — говорит нам аннотация к большому итальянскому травелогу Дмитрия Бавильского, — можно использовать как путеводитель». Имеется в виду — по тем тридцати пяти городам, которые объехал, подробно описав свое взаимодействие с ними на разных уровнях, автор. Можно, конечно, — только это было бы существенным упрощением. С тем же самым правом эта книга способна читаться как путеводитель по восприятию. Как исследование его устройства, вообще — закономерностей взаимодействия человека со страной, которую ему предстоит объехать (заведомо не полностью) и как-то понять, — тут об исчерпывающей полноте и вообще мечтать нечего; таким образом, автору приходится отвечать еще и на не заданный, но постоянно подразумеваемый вопрос: как возможно полноценное восприятие при заведомой, непреодолимой его неполноте? А добавьте сюда еще и необозримые библиотеки написанного об Италии хотя бы только на понятных тебе языках, которых тоже всех ни за что не перечитать и по отношению к которым тоже необходимо как-то определяться...

Спойлер: возможно. Еще более сильный спойлер: возможно оно на путях пристального внимания к каждому из актов восприятия, к тем смысловым пластам, которые в него укладываются; к структуре каждого проживаемого момента. При этом в принципе не так уж важно, сколько городов ты объедешь и опишешь — тридцать пять ли, как повезло Дмитрию Бавильскому осенью 2017 года (а могло бы быть и сорок, да хоть шестьдесят, были бы время да деньги), или, например, один-единственный, как устроил сам себе тот же автор несколькими годами ранее с Венецией — а мы знаем об этом из его вышедшего в 2016-м «венецианского дневника эпохи Твиттера» «Музей

воды». Неисчерпаемость — и репрезентативность пережитого — в любом случае гарантирована.

Тем более что в ситуации превосходящего человеческого разумеения избытка всерьез встает задача не охвата, но отбора: «В Италии слишком много всего, — пишет автор, уже вернувшись из путешествия и подводя ему итоги, — из-за чего приходится намеренно сужать интерес, отказываться от параллельных линий и необязательного избытка — того, что кажется лишним с позиций вот этого сегодняшнего дня, который тоже минет, вполне способный принести изменения привязанностей». Неполнота здесь прямо-таки требуется.

Ну, то есть, решение возможно на путях полноты не экстенсивной, но интенсивной: внутрь и вглубь. И тут уж у Бавильского среди ныне пишущих-и-путешествующих соперников мало — если есть вообще.

Но в целом я бы назвала его итальянские книги — и венецианскую, и эту, многоохватную — еще и практическими пособиями по постановке взгляда. И даже, пожалуй, в первую очередь. В этом отношении «Желание быть городом» видится мне не просто выпадающим из ряда всего написанного об Италии и о путешествиях по ней, но в некотором роде и более важным, чем основная масса итальянских тревелогов: о путевых впечатлениях, о достопримечательностях, об исторической памяти написаны необозримые объемы текстов, о систематической же постановке восприятия всего этого... хм... ну даже не знаю. Мне, по крайней мере, другого не попадалось.

А Бавильский делает это именно систематически. У него все очень рационально продумано и выстроено. И тут фрагментарность, видимая спонтанность его письма, скрупулезное, до занудства (до, подумаешь иной раз, дробления взгляда — ну чего отвлекаться на такие мелочи?), фиксирование множества случайностей: «От аэропорта до ж/д вокзала в Римини 22 минуты на автобусе № 9 и два евро за билет...» — не должны вводить в заблуждение: все эти случайности и сиюминутности включены в систему и работают на нее. Не должно вводить в заблуждение (совершенно искреннее, верится) и признание автора на одной из первых страниц книги в том, что он задумывал путешествие «без плана и правил». Отсутствие такой жесткой сетки — явно затем, чтобы застать реальность врасплох. Чтобы она — свободная от предписаний — тем доверчивее раскрывалась наблюдающему взгляду.

Чем случайней — тем, как задолго до нас сказано, вернее.

Италия же с ее эстетической и исторической насыщенностью оказывается в этакой привилегированной среде для такой отработки восприятия, для выращивания чуткости, а ее тщательная откомментированность дает возможность — хочется сказать: *настоятельную возможность* — вступить с предыдущими комментаторами в диалог и спор. С чего, собственно, автор и начинает — открывая книгу своего рода декларацией о намерениях, о принципах, на которых он будет строить свое повествование (в отличие от Павла Муратова, тщательно изгнавшего всё личное из «Образов Италии», которые послужили основным стимулом к написанию книги Бавильского).

Бавильский — которому вообще свойственно ускользать из хорошо обжитых (другими) культурных ниш и подвергать ревизии принципы любого жанра, в котором он берется работать (а работал, кажется, во всех мыслимых, от поэзии и драматургии до романистики и эссеистики, не говоря уже о критике, журналистике и жанре жанров — дневнике, даже разных дневниках: живой журнал, фейсбук, твиттер, инстаграм... — все это разные модусы дневникового высказывания, даже разные типы интонаций) — переформатирует сам жанр тревелога.

Прежде всего: «эпоха твиттера» — то есть социальных сетей с разными типами записей — позволяет автору, используя все эти сети как инструменты, улавливать процессы восприятия с разными скоростями и разными уровнями обобщения; разные стадии смысловой обработки, которой подвергается сырье впечатлений, смыслового их созревания. Он как бы приоткрывает дверь в лабораторию, позволяя читателю наблюдать процесс этого созревания — почти участвовать в выработке окончательного продукта. Прием, отработанный еще в «венецианской» книге: каждая городская глава

Борис Минаев

«Кеды» — 2020

Запертые в четырех стенах, в снежной и темной Москве — мы продолжаем искать новых впечатлений, новых художественных идей, чтобы не сидеть тупо в этой мысленной темноте, чтобы не оплакивать непрерывно прежнюю свободу в эпоху ковида и ежедневных прощаний.

Для меня таким новым и неожиданным — стала трансляция на портале Культура.РФ спектакля «Кеды».

Я, собственно, не относился к этой трансляции как к чему-то новому — пьеса старая, да и спектакль поставлен не вчера, — пока не дошел до последних кадров. И вдруг я увидел тут людей в масках! Оказывается, все эти глаза, которые становятся благодаря маскам еще ярче и еще трагичнее — это глаза сегодняшних зрителей, они сегодня, преодолев страх и холод, пришли на эти самые «Кеды»!

...Пьеса вообще-то удивительная. Ни одна пьеса о современности не имеет, пожалуй, такой судьбы, как эти «Кеды».

Ни знаменитый вырыпаевский «Кислород», ни великая пьеса Пресняковых «Изображая жертву», ни возлюбленная мной «Ощущение бороды» Драгунской, ни «Пластилин», да вообще ничто, ни знаменитые прилепинские «Отморозки», ни хиты Театра.Дос («Синий слесарь», «Соколы») не пережили нулевых, десятых, не перешли плавно в нынешнюю эпоху.

И только «Кеды» Любови Стрижак — незаметно въехали в сегодня. Они возникают вновь и вновь, по всей России, во всех провинциальных театрах, то на той «малой сцене», то на этой, то в столицах, то в райцентрах, по ним можно по-прежнему изучать «современную молодежь», да и сама эта «молодежь», изображенная в пьесе, и уже порядком повзрослевшая, смотрит из зала как бы сама на себя и... радуется, наверное, что осталась жива?

Почему пьеса пророческая?

Дело в том, что в конце пьесы главный герой Гриша, столкнувшись с разгоном несанкционированной демонстрации, садится на велосипед друга и, как сказано в тексте, на полном ходу «врезается в полицейский автозак».

Чтоб было понятно, я просто перескажу финал.

Два молодых человека, Гриша и Миша, бесцельно идут по Москве, наталкиваясь неожиданно на «Марш несогласных»; один из них начинает снимать, как полиция (в нынешней постановке ее заменили на «Росгвардию») бьет одного из протестующих дубинками. Миша снимает происходящее на телефон, на него накидываются полицейские, волокут в автозак, он бросает велосипед. «Гриша садится на велосипед друга и на полном ходу врезается в автозак».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«**Фаланстер**» (Малый Гнездниковский пер., 12/27)

«**Бункер**» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ



И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

**2/2021**

Читайте:

**Алина Гатина. Роман
«Саван. Второе дыхание»:**

*«— Зря ты про Руфину. Она хорошая.
— Ладно. Бог с ней. А ты... Я смотрю на тебя —
и ты лучше меня. Понятно, что ты лучше
своего отца... Это для меня большое утешение.
Это комплимент для меня. Но ты и лучше меня.
Хотя как мать я себя не устраиваю. Я ведь
не очень хорошая мать. Да? — Она нервно
засмеялась: — Да нет. Я даже скверная мать.
Да? Но ты скажи мне одну вещь. Больше ничего,
кроме этой вещи, не говори. Не жалей меня
сейчас, не защищай. Только очень-очень
честно скажи. Я пойму, если скажешь как есть.
Хотя, — она опять глотнула воздуха, — я и не
рассчитываю там на что-то. Но скажи...
вот если бы я ушла от вас с папой... Ну, то есть,
как он от нас с тобой. Ты бы меня искал?
Ну, то есть, как его? Ты бы искал меня так же?
Она села на пол у кровати и положила голову
ему на грудь.
Ролик погладил ее по волосам, как гладят
маленького ребенка. И она взяла его руку
и поцеловала ладонь.
Она и смотрела на него как ребенок, и все
ждала, что он скажет. Он показался ей взрослым
и важным — таким человеком, от которого она
зависит. И Ролик сказал то, что вначале мать
будто и не расслышала, будто отвергла его слова.
И он, думая, что она не слышит или не понимает
его, повторил еще раз:
— Мама, ты бы никуда от нас не ушла....»*